

Адолф Арцишевский



ВОТ КТО-ТО С ГОРОЧКИ СПУСТИЛСЯ...

Народный роман

I

Умирал старик Богатырёв из двадцатой квартиры. Умирал долго и трудно и никак не мог помереть. Старик лежал парализованный, своими силами не мог ни поесть, ни напиться, ни себя обиходить. Пока хватало голосу, он материл сыновей, что не дают ему пить хотя бы воды из-под крана и есть какой-нибудь мешалды, какую они могут сварить с пьяных глаз, а то ведь с голодухи нижняя губа прилипнет к носу.

– Ты, отец, погоди, – говорил ему младший, Валера, – нам для тебя ни жратвы, ни питвы не жалко. Ты себя пощади. Ты потом до унитаза не доползёшь, это факт. И нас не окажется рядом.

А старший, более практичный Валентин, если он тут присутствовал, подносил отцу полстакана бормотухи:

– На, плотни, легче будет. Расширяет сосуды.

Всю сознательную жизнь Валентин был в бегах, его жена алиментами задолжала. И не сказать, чтобы он не любил сына или не хотел о нём заботиться. Нет, он любил и гордился, что у него растёт сын. А тревожил Валентина всерьёз нравственный облик оставленной им жены. Была она женщина броская, видная, за Валентина вышла по любви, он помотал ей нервы. И когда они разошлись, он чувствовал себя в ответе за её судьбу.

– Сына тебе растить надо? Надо, – диктовал он ей на прощанье кодекс одинокой безмужней жизни. – Вот и крутись в два раза бойчей. Сама зарабатывай денежки. Не до хахалей будет.

И, скрываясь от алиментов, подводил под этот шаг моральную базу:

– Не хочу, чтобы она пошла по рукам.

– Тьфу! – плевался отец ещё в те поры, когда у него было чем плевать. А брат Валера выносил свой приговор:

– Собака ты, Валя.

– Кобель, что ли? Так я с бабьём не путаюсь.

– Ну и дурак. Собака вдвойне.

Валентин хмурил брови, пытался вникнуть и не мог:

– Поясни!

– Поясняю. Собака на сене. И сам не гам, и другим...

– Потому что я гор-рдый.



- Ага, я очень гордый – хожу с опухшей мордой.
- Я не хочу, чтобы она меня позорила.
- Что я ценю в тебе, – лез целоваться Валера, – принципиальность.
- Да. Я уважать себя заставил.
- Онегин ты мой несравненный!
- И попрошу не оскорблять!

Валера целовал старшего брата врасплох, тот взвизгивал от удивления:

- Ах ты, курва! Что ж ты кусаешься?
- Это, Валя, страсть. Это я исключительно из любви.

Дальше шло невыразимое словами, но слишком далеко и понятное всем. Так что иногда приезжала милиция, но к тому времени Валентин, не будь дурак, сматывал удочки, да и Валера успевал, как правило, смыться... А наряд милиции заставлял в доме форменный погром, с подозрением смотрел на старика, тот лежал на диване под льняным покрывалом. Половинкой лица, не утратившей жизни, он мычал невразумительное и плакал.

Валера тоже был в бегах, но свой искус в жизни имел – он бегал от работы. То есть работу он всё время искал, но такую, чтобы на ней числиться и ничего не делать.

– В работе, как в музыке, – без нот как без ног, – разглагольствовал он. – Поясняю: НОТ – научная организация труда. Понимэ? Поясняю: надо работать по совместительству в трёх местах сразу.

– Из трёх сразу и выпрут, – вопреки опьянению Валентин всегда мыслил трезво.

– Вам дудки-с! – взвизвался Валера. – Из всех трёх – никогда!

И если они ещё не достигли критических градусов, он предлагал развитие своей теории:

– Братан, чем хороша эпоха НТР? Читай газету, – он пытался высвободить из-под стаканов часть газетного текста. – Вот: «На стыке наук рождаются новые отрасли». Понимэ?

– Не понимэ, – придурился Валентин.

– Поясняю: новые отрасли – новые конторы. А новые конторы – это неразбериха, это сложности организационного момента.

– Ага! А ты приходишь и организуешь.

– Люблю нечаянные комплименты.

– Да тебя из рекламы выперли через полгода!

– Выбирайте выражения, сударь. Предложили. По собственному...

– Выперли. С треском.

– Но я полгода получал зарплату.

– Чего?

– Зарплату. Наличными.

– Ну да! Ты рекламой украсил весь город.

– Не в том рояль. Я приходил к восьми, а через час уходил. На весь день. По делам.

– А-а, это ты к Нюрке-парикмахерше бежал. Опохмеляться. Одеколоном.

– Не к Нюрке, а к Анне Ивановне. И не парикмахерше, а зав косметическим салоном. Я и там стриг купоны.

– Чего? Тебя там самого чуть не остригли. Наголо. Забыл? А ты не дёргай, не дёргай глазами.

– Зря стараешься. От меня все твои инсинуации отскакивают, как сухое дерьмо от лопаты, – пытался хорохориться Валера, но тут же и скрипел зубами. – Не пойму: зачем тебе всё это? Зачем петь на моих нервах, плясать на моих устоях?

– Ты мне кто? Ты мне брат! – Валентин бил не в бровь, а ниже пояса. – Надо любить близких людей – надо их разоблачать.

– Ах, разоблачать! Ну, пофуфурься, пофуфурься. Я вот врежу ещё полстакана и выдам тебе ля бемоль. Правдолюбец нашёлся. Протопоп Аввакум незапятнанный. Савонарола наш громоподобный. Жанна д'Арк неподкупная...

И начиналось вновь невыразимое словами. Отцу хотелось приструнить расшумевшихся мальчиков, но он мог только выкрикивать чуть слышное: «Эх!.. эх!.. Эх!..» Да вроде как пальцем грозить – той руки, которая была ещё дееспособна. Он люто ненавидел их, и жалость к сыновьям была так сильна, что начинались приступы стенокардии. Хотелось чем-нибудь помочь им, и он плакал бессильными стариковскими слезами.

В редкие моменты, когда на братьев Богатырёвых находило не то, чтобы протрезвление, а прояснение, и не ума, а сознательности, они торкались в двери напротив, к Елене Ильиничне.

– Баб Лен, глянь на него. Он чё-то просит.

– Просит – дайте, – говорила она, не пуская их дальше порога, а то сопрут чего ни попадя.

– Мы бы дали, если б знали, – сыпал Валера из-за плеча Валентина, а сам так и шнырял зенками по прихожей.

– У-у, паразит глазастый! – замахивалась на него Ильинична, теснила братьев на лестничную площадку, захлопывала дверь в свою квартиру и с опаской заглядывала к Богатырёвым.

Богатырёвых не любили в подъезде. За то, что жили не по-людски, куражились, кланчили займы, а выклянчив, не отдавали. Здесь все друг друга знали ещё с тех незабвенных времён, когда жили в бараках, в тесноте да в бедности, да в жестокой работе, да в свирепых болезнях, да посреди всеобщего лиха, которое называлось войной. Может, время было такое, а может, роднит лихолетье людей, а только жили тогда, не таясь, на виду, словно и не было стен меж квартирами, а был один, большой, но очень ладный и не очень складный, дом.

В конце шестидесятых клоповники стали сносить, и два их барака засундучили в крупнопанельный безразмерный дом – как раз в два соседних подъезда. Народ, затюканный неудобствами быта, вздохнул свободнее. И воду ведрами таскать не надо из колонки, и проблема дров отпала сама по себе. И в баню, если и потащишься, как бывало, то это уж не для того, чтобы грязь недельную смыть, а ради парилки, массажа, педикюра и чтобы покуражиться чуток перед самим собой. Жизнь стала сытой, народ увлёкся барахлом, стал жить не столько в соответствии с эпохой, сколько по своим личным, как говорили в газетах, встречным планам. Теперь уж все жили в особицу. Ильиничне порой казалось, что в каждой квартире, за каждой дверью их панельного дома возводится свой собственный особняк – с высоченным забором, с мудрёными замками-запорами, с глазком, чтобы глянуть, кто хочет проникнуть в твой дом, в твою крепость с дородным кобелиной, он лает басом с балкона и бегаёт теперь не на цепи, а тоже в духе времени – вольно, по всем панельным закоулкам твоего типового малогабаритного особнячка.

А эти три богатыря жили и здесь как в бараке. То есть когда-то, как все добрые люди, они тоже принялись было строить свой особнячок в двадцатой квартире, но, видать, позабыли, что это личная стройка, и растащили-пропили всё, что можно со стройки пропить-растащить.

Пол на кухне и в прихожей был покрыт по уму – крагиусом. И сверху надо бы линолеум, но не хватило то ли ума, то ли опять же линолеума. Крагиус был стар и шербат, как асфальт на разбитой дороге. Под раковиной и у газовой плиты он

коробился и пыхтел, ворочался под ногами. Казалось, из-под этой неровности вылезет таракан богатырских размеров и, как собака, тяпнет за ногу. Стены в прихожей намечалось отделать под дерево, и не обоями – в те поры, когда намечалось, таких обоев ещё не было, – а горбылём, аккуратно ошкуренным, наждачком зачищенным, а поверху – лак бесцветный, чтобы прихожая и в темноте светилась. Но стену удалось отделать лишь одну, лак повытерся, доски постарели, подурнели, и стена походила на обшарпанный забор. К тому же одна доска не то вывалилась самопроизвольно, но дурости, не то её принудили к этому силком, она бесхозно прозябала на балконе, а в образовавшийся прогал пялилась подзаборная, совсем уж страхолюдная стена.

Но прихожая – ладно, тут не только горбыль, пней пускай навтыкают. Ильинична заглянула как-то в дальнюю комнату, и хоть она была не очень верующая и даже в прошлом коммунистка, но взяла грех на душу – осенила себя крестным знамением. Там стены были чёрными, как в кочегарке или в космосе, по чёрному же потолку плыли два тощих космонавта в скафандрах, а пол разрисован под вид камешков – гальки речной. Вдоль стен стояли низенькие лавки из некрашенных струганных досок, и в центре комнаты – громадный и тоже деревянный лежак. Ну и там-сям валялись сухие дубовые веники, как в парилке или, шут его знает, в предбаннике. Это ж рехнуться надо – в той комнате на той лежанке спать. А днём они зашторивали наглухо окна и полуголые, как в Древней Греции, вели за бутылкой беседы и выясняли отношения.

Сейчас они в эту парилку засунули парализованного отца, чтоб глаза не мозолил. Лежанку с веником вышвырнули, поставили на галечник диван-кровать, и за отцом теперь присматривали два парня-космонавта с потолка.

Ильинична опасливо, боясь, что нога подвернётся на рисованном камешке, ступила в ту самую комнату.

– Окно бы открыли, а то хоть противогаз надевай.

– Валь, окно! А противогаз сами надели бы – нету.

Валерка шустрил, балабонил без умолку:

– Ну, отец! Давай, признавайся – чего тебе надобно, старче? Мы не поймём, мы говорим с тобой на разных языках. Ты ей, ты ей скажи, подруге юности глубокой...

– Умолкни, тварь, – проникновенно сказал ему Валентин.

– Ну вот – и с ним на разных языках...

Ильинична всем телом развернулась и посмотрела на Валерку. Тот поднял руки и захлопнулся на время.

– Пить, – сказал очень вятно старик Богатырёв.

Она всё так же молча посмотрела на Валентина.

– Так смысл какой? Он тут же под себя, – пытался тот удержать её от неверного шага.

– Пить, – повторил отец. Ильинична не сводила глаз с Валентина:

– Ну.

– Я – предупредил, – очень твёрдо сказал Валентин.

– Бог вам судья, – вякнул Валера. – Я умываю руки.

Они повлеклись на кухню, долго шумели краном – может, и впрямь мыли руки? Впрочем, стакан воды принесли. Валентин подал его Ильиничне как бомбу.

Старик, постанывая, пил, и, казалось, вода тут же выходит вся слезами.

– Ещё, – сказала Ильинична и откинула покрывальце, которым был укрыт старик Богатырёв. Ей стало дурно.

На автопилоте она вышла из космической комнаты, вдоль стенки-забора пробралась к выходу.

– Таз. И тёплую воду, – махнула она парням.

– Таз! Может, на балконе? – снова ожил Валерий. – Где же таз, язвы глаз?..

Ильинична вернулась к себе, долго искала в шкафу старую, драную простыню. Потом пошла назад к Богатырёвым. Всё это время думала про Маньку Дудкину, какая та была отлётница: чуть зазеваешься – уведёт мужика. А удержать его – кишка тонка. И хозяйка она была никакая, всё наперекосяк. И мать из неё никудышняя, вечно они простуженные, неухоженные, в одежонке бог весть какой. Правда, что их не тронь – тут она, бывало, идёт в рукопашную. А гонору, гонору!.. «Мой Валерик на скрипке играет». Ну и что? Поиграл он две недели, а потом той скрипкой саданул Валентина по кумполу – она и развалилась, у ней звук пропал. «У моего Валюши математический склад ума. Он мыслит логически». Посмотрела б ты, Маня, до чего они отца родного довели, эти два мыслителя...

Эх, Манька, Манька, задушевная ты подружка подколодная!.. Хотела меня обвести вокруг пальца. И мой бровастый паразит клюнул на твою тощую красоту, схлестнулся с тобой. Поехали вы с ним на хлопок как два сослуживца-товарища, а вернулись с хлопка как два аморальных кошмарища. Ты за глаза там шипела ему на меня, будто кобра, и вилась, и вилась вокруг него кольцами. Он и развесил уши, рассиропился. Ох и поплакала я, пометалась. Игорьку два года. Да не пропала б я одна, но всё ж таки – отец! И брови эти его не чёрные – чёртовы я у судьбы вымолила, отвоевала, как надежду последнюю. Любила я его и люблю, хоть не стоит он любви той высокой.

Но есть на свете справедливость, Маня. Спасибо Кольке твоему Богатырёву:

– Да не убивайся ты, Ленка. Из любви к тебе, из уважения беру, говорит, Маньку Дудкину на себя. У твоего бровастого я вмиг её отобью.

И завёл свою любимую пластинку «Счастье моё я нашёл в нашей дружбе с тобой». Ох, и оглашенный был мужик, юбку не пропустит. Мне, говорит, ничего не стоит поматросить и бросить. Ага, поматросил... Отбить-то он её, слава богу, отбил, и мозги заморочил. Там такое самовозгорание началось, дым стоял коромыслом.

Манька пропадала у него каждую свободную минуту, а слышимость была похлеще, чем теперь в панельном доме. Богатырёв ставил на проигрыватель пластинку. «Вдыхая розы аромат», – так Жора Виноградов красивым тенором начинал свой рассказ про их отношения. Но розы аромат Жора Виноградов мог вдыхать две с половиной – три минуты, дальше у него не было слов, а переставить адаптер в начало пластинки у Богатырёва не было физической возможности в виду крайней занятости, и пластинка порой по часу шипела своей последней немой бороздкой, они эту бороздку заездили напрочь. Но к тому времени Богатырёв уже приступил к выяснению отношений с Манькой, и надо было уже прикрывать пластинкой не только страсти, но и голоса. Жора Виноградов из последних сил пытался завуалировать происходящее, а Манька наоборот старалась раскрыть всем глаза. Она объявила всему бараку, что Богатырёв – мерзавец и подлец и что, если он не женится на ней, она родит ему двойню. На что он тоже отвечал всему бараку, что она потаскуха и дура и что такими дешёвыми штучками-дрючками его не возьмёшь...

Ильинична раздермыгивала простыню на клочья. Она обмакивала клочья в воду и, как счищают мазут с какого-нибудь трактора, так и она обтирала старика. Мокрой тряпкой проведёт и тут же её, тряпку эту – на пол, на газету, как негодную к дальнейшему употреблению. Она меняла воду раза три. Над ней парили космонавты, и околевшие синие звёзды в три-четыре луча на чёрных облупленных стенах жались к углам от яркого дневного света, живого ветерка за окном, который стекает с гор после полудня, от птиц, людских голосов и прочих звуков, которыми наполнен город.

– Знаешь, Валера, в чём разница между нами? Ты не можешь жить без денег, и я не могу. Но ты можешь жить без совести, а я без совести...

Значит, пока она тут пурхалась, они успели отовариться. А может, у них была заначка?

– Ты, Валюша, подлец. Но за что я тебя люблю? Ты безобидный. Поясняю: ты умён и труслив, чтобы делать крупные подлости.

– Вот спасибо.

– Не стоит, Валюша. Всё, что ты делаешь, это наши семейные радости. Тебе не хватает масштабности. Размах не тот.

– У меня размах тот! – Ильинична шваркнула им чуть ли не на стол газету с мокрыми тряпками.

– Вопросов нет, – сказал Валентин.

– Я умываю руки...

– Умывай, умывай! Но сначала дай мне чистую рубашу, чтоб я могла его принарядить.

– Да, да! И кроме свежeweымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо, – с чувством продекламировал Валера. – Где же она, где?

– В ЦУМе! – Валентин, как всегда, был конкретен.

– Ну, Манька! – с восторженной злостью сказала Ильинична. – Ай да Манька.

– Не Манька, а Мария Фёдоровна! – взвился Валерий. – Её звали как вдовствующую императрицу.

– При чём тут мать? – невозмутимо спрашивал Валентин.

– Да уж... она ни при чём. Ты вытащи из-под него подстилку, я новую принесу.

Ильинична вернулась к себе – подсобрать кой-какие вещички, которые не жалко было: два старых, бросовых, но чистых покрывальца – одно подстелить под старика, другим укрыть, рубаша мужа, какую он давно не носит... Так-то, Манечка. Ты уж прости, я как могу. Сколько лет пролетело? Семь, восемь? Тебя как повезли на операцию, ты мне сказала:

– Не взошла моя, Лена, звезда. Понапрасну травушка примята, и увяла девичья краса.

– А ты на тот свет не спеши. Тебя, как худую кастрюлю, залатают, чтобы утечки здоровья не было. И живи себе дальше.

– Не о том я. Жизнь прошла, а вспомнить нечего.

– Это кому – тебе? Да у тебя мужиков было, Маня!.. И все один к одному – гренадёры, гусары летучие.

– Не о том я, не о том...

– А о чём?

– Так, о многом. Недопоняла я чего-то в жизни. У меня ведь как? То божба, то ворожба, а всерьёз ничего и не было. И мужик непутёвый, и дети... и сама – не приведи господь.

– Куда это ты выруливаешь, подруга?

– А никуда. Приехали. Была Манька Дудкина, и вроде не было... Ладно. За моими присмотри.

Ага, присмотришь за ними. Они вон какие два жеребца говорливые, откуда что берётся. Их так вот послушать, телевизор не нужен. У иного – мат-перемат, а у этих, глянь-ка ты: совесть, смысл жизни, волеизъявление... Чего ещё там? Во, вечный дух. Ну, разгрызли бутылку водки, обломали кулаки друг о друга, и разошлись довольные. Чего ещё надо? А эти два, как Змеи Горынычи, взмоют в поднебесье и словами теми, как кирпичами, друг друга охаживают. И сцепятся ведь не на жизнь,

а на смерть. Манька, бывало, захочет их миром растащить, так и сама не знает, кому поддакивать, кому поднекивать.

А если глянуть по-над словами в самую серёдку – подонок он и есть подонок, каких бы слов ни нахватался. Тут для Ильиничны всё было просто. Мужик – он на то и мужик, чтобы деньги трудом своим зарабатывать, о семье заботиться, детей растить. Нет этого – нет мужика, будь ты хоть семь пядей во лбу и самых лучших экстерьеров.

Ильинична пошла было на выход, но её настиг телефонный звонок. Он был резким и непрерывным, так дают межгород. У неё вмиг подскочило давление. Кто бы это мог звонить, откуда? Она выждала – может, отвяжется? Но телефон заливался вовсю.

Она взяла трубку, хотела сказать «алё», но там ждать не стали.

– Касса? Касса!.. Зарплату дают? – она убрала трубку от уха, посмотрела на неё с возмущением, а заполошный юношеский голос словно бы испытывал на прочность мембрану телефона. – Касса? Я спрашиваю: это касса?

Она положила трубку на рычаг, но телефон, как заведённый, зазвонил с той же силой.

– Мама? – на этот раз звонил Игорь. – Алло!

– Сейчас, – она перевела дыхание. – Да, я.

– Здравствуй, мама.

Она ещё раз выдохнула, обретая равновесие. Чего это я такая пугливая стала?

– Здравствуй, здравствуй, чёрт мордастый. Это я не тебе, это присказка такая.

– Присказка? Ну давай следующую: как твоё самочувствие? Тут магнитная буря.

– Самочувствие? Меня оглоблей не пришибёшь.

– Я тебя разбудил?

Каждый раз он задавал ей зачем-то этот вопрос, и каждый раз это возмущало её. Она никак не хотела прийти в соответствие со своим возрастом.

– Ты с работы звонишь?

– Да, из редакции.

– Ты что – позвонил специально, чтобы узнать, как моё здоровье?

– И про здоровье тоже.

– Давай без «тоже». Что у тебя?

– Значит, так. Я хотел уточнить одну деталь. Мы готовим очерк об актрисе Богатырёвой. Той самой, заслуженной. Творческий портрет, так сказать, жизненный путь – ну и так далее. Ты про неё слышала.

– Слышала, слышала.

– Так я хотел узнать: она однофамилица этих... соседей наших? Или... Ты случайно не знаешь?

– Случайно знаю. Валеркина жена. Бывшая. Она бросила этого охламона, и правильно сделала. Ты напиши там в газете, пропесочь его, он жизнь ей испортил. И она тоже, дура набитая, пошла за него, как будто мужиков больше нету. Ты меня слышишь?

– Да, да. Ты дала полную информацию. Спасибо.

– Чего «спасибо»? Не-ет, ты уж теперь выслушай. Хоть ты и мужчина, Игорь, но я скажу тебе: дуры мы, женщины, дуры, себя не ценим. Вот хоть бы я. Ведь полюбила с первого взгляда и на всю оставшуюся жизнь. Да, да, Игорь Гаврилович, я про твоего папочку, про этого бровастого паразита. Но, Игорь, я жестоко одинока рядом с ним...

– Мама, я перезвоню. Ко мне пришли.

Вот он всегда так, на лету её подсекает. Ладно:

– Дома-то как?

– Порядок, – и положил трубку.

Бандит, душу разбередил, а выговориться не дал...

Это всё Маньке спасибо, она помогла познакомиться с Гаврилой, удержать его, не упустить. Они едва переступили порог танцплощадки, к ним разлетелся лётчик. Манька толкнула под локоток: «Твой! Бери». И то ли от этого толчка, то ли от того что судьба даёт тайные знаки, она, держа в поле зрения лётчика, окинула взглядом всю прочую публику и тут же погибла навеки, увидев эти распроклятые чёрные брови. Он сидел поодаль, неприкаянный и потерянный, и не знал, поди, с какой стороны, с какого боку к девушкам подходят.

– Мой – вон тот, – успела сказать она Маньке, пока лётчик расшаркивался перед ними.

– С бровями, что ли? – удивилась Манька. – Да он недотёпистый.

– Он, Маня, – затосковала она. – Только он.

Она уже положила руку на погон с петлицей, уже сделала первый шаг в танце, но такое отчаяние было в её голосе, что Маня, смерив взглядом шикарного лётчика, а следом и того, невзрачного, в бровях, пожала плечами и успела шепнуть:

– Танцуй. Не упустим.

Винты у лётчика работали на полных оборотах: он говорил ей комплименты, жал руку, прижимался сам и танцевал танго с такими выходами, что можно было голову потерять и не найти её обратно. А она даже лица его путём не разглядела. То есть разглядела, конечно, а не запомнила. Щека его запомнилась – румянец пятнами. Ох, и горячий был парень, наверное. Ну да, Маня потом говорила: горячий... И в круговерти танца видела, как Маня обогнула танцплощадку вдоль скамеек, остановилась рядом с ним, спросила. Чего? А, чего попадя: «Вас, случайно, зовут не Вадим?» Он отрицательно затряс головой, вконец теряясь от внимания такой роскошной дамы. «Рядом с вами, случайно, не занято?» Она принялась строить ему глазки и анкетировать напропалую.

А лётчик приударил за Леной всерьёз, как назло, на отпускал её три танца подряд. Нет, но мальчик был цепкий, напористый, и разгляди она его получше, подай ему хоть слабую надежду, судьба её сложилась бы иначе. Но потянуло, повело её совсем в другую сторону. Кое-как отбоярившись от четвёртого танца, она, слабея ногами, в сопровождении неотступного лётчика приблизилась к Мане, дышать боясь в сторону Маниного собеседника.

Та подняла свои бесовские невинные гляделки, как будто и не ожидала увидеть здесь Лену:

– А-а, это ты! Знакомьтесь, моя подруга Елена. А это... – и Лена, теряя остатки мужества, посмотрела уже не поверх бровей и не на брови, а в тихие покорные глаза, они лишили её рассудка и подчинили всю без остатка своей неодолимой и негромкой воле, – а это Гаврило Данилыч, можно просто – Гаврюша.

Так, Мане танцы теперь ни к чему. Ну, это она устроит вмиг.

– Вы что – уходите? Мы тоже, – и, обращаясь не к Гавриле, а к бравому лётчику, тот аж приплясывал от переизбытка энергии, она сказала: – Вы нас, конечно, проводите.

И пока пробирались к выходу, Маня с улыбкой дыша Лене в затылок, выдала аттестацию драгоценным бровям, как бирку навесила:

– Дембиль. Холостяк. Специальности нет. Жилья тоже...

«На какие жертвы идёшь...» – думала Ильинична, меняя подстилку под стариком Богатырёвым. Братья-разбойники отчалили в неизвестном направлении, оставив двери открытыми настежь. «Да, на какие жертвы идёшь ради любви. Я

думала как? Появится мужчина в доме, будет на кого опереться моей нестойкой женской натуре. Он в трудную минуту власть проявит, инициативу, он тяжесть на себя возьмёт, он...» Он, паразит, оказался такой инертный, что шага без неё ступить не мог. Она его на курсы электриков воткнула, она ему нашла кормяжную работу – по электрическим швейным машинкам пустила, она его вытолкнула в мастера-бригадиры. Время-то какое – все крутятся, изыскивая способы. А он как жил на голую зарплату, так и живет.

«Была я стройная, как статуэтка, а вышла за него и стала, глянь, как монумент. Что ж ты сделал со мной, ненаглядный ты мой распроклятик? У меня от природы совсем другая конституция была». А он ржёт, как конь ретивый. Я тебе, говорит, свою конституцию дал.

Так вот прищёпывая и рассуждая, где вслух, где про себя, она ещё четверть часа возилась с Богатырёвым. И уж когда она его прибрала-обиходила и его не надо было обходить за километр, а можно было и приблизиться без опасения оскорбить свои органы чувств, она села с ним рядом:

– Ну, здравствуй, что ли, Николай.

Он осторожно посмотрел на неё голубым, не утратившим жизни и ясности глазом, тихонько вздохнул: «Ох-хо-хо!...» И кивнул, вроде как поздоровался.

II

Елену Ильиничну, Ленку Попову из первой квартиры их аварийного барака – Ленку-стенку, Ленку – пим дырявый, или, как её звали ещё, красногубку – он всегда остерегался малость. Тут одного прозвища хватит за глаза на всю жизнь, а у неё сразу три – поди, уже есть и четвёртое, но в силу своей неподвижности и за труднённости в общении он его не знал. А знал он её ещё с довоенных времён, ещё при её первом муже, который на фронте погиб, Гаврило уже был при ней третий, она и во время войны ухитрилась выскочить замуж. Правда, её второе замужество случилось в отсутствие Богатырёва, он был на фронте. Но это он ей посоветовал в сорок седьмом году посеять паспорт, а вместе с ним и следы о неудавшемся замужестве, чтоб можно было беспрепятственно поставить в загсе новую печать. Она это дело в момент провернула, снова стала молодой, холостой, шибко интересной. И намекнула Богатырёву, что не стала бы возражать, если бы он обратил своё мужское внимание на её стосковавшийся кипучий женский организм. На что он ответил ей словами Клавдии Шульженко: «Не тревожь ты себя, не тревожь, обо мне ничего не гадайвай», – и дал понять, что ищет в другом направлении.

А искал он в тот момент в направлении буфета привокзального ресторана. За его стойкой в оправе коньячных бутылок, ассортимента папирос и бутербродов царил Феня Малышева. Буфет она загружала сама, привычно ворочая тяжести, и у неё от непосильного труда сформировалась грузная фигура, походка была тоже понятно какая. Когда он смотрел на неё, ему на ум приходили всякие серьёзные слова: твердыня, гордыня, гранит, дот и КЗОТ. При всём при том была она молодой, незамужней, и на её просторном лице цвела улыбка, а глаза поднебесных оттенков обнаруживали всю свою синеву, когда в секторе их наблюдения появлялся Богатырёв.

Гражданской специальности у него ещё не было, и он пока не мог сообразить, в какие спецы ему податься. А жить надо было без промедления, жить по-людски, и лучше всего с такой вот основательной надёжной женщиной, как Феня.

Однажды он зашёл к ней в подсобку буфета. Подсобка была тесна и не приспособлена для объяснений в любви. А Феня накинула крючок на фанерную дверь, повернулась к нему и глянула так, будто час её гибели настал. У неё, видать, подкосились ноги, и она стала оседать на ящик с папиросами «Дели», так что Бо-

гатырёв вынужден был подхватить её, чтоб она не упала. Её лицо запрокинулось, и он целовал её стонущий пунцовый рот, затуманенные, отчего-то виноватые глаза, обмякшие беспомощные плечи, от них шёл запах мыла, здоровья и чистоты.

Она любила его со всей силой заждавшегося и нерастраченного женского сердца, и от любви к нему готова была душу отдать на заклятие – без фактуры и накладной. А Богатырёв впервые в жизни испытывал счастье. И пока улаживал свои дела – подыскивал работёнку, чтобы не пыльная, с мало-мальской перспективой и каким-никаким уважением к самому себе – он был ухожен, облизан, сыт, пьян и нос в табаке. И воспринимал это как законную контрибуцию после стольких лет голода, холода и лишений.

А через полгода Феню Малышеву взяли под стражу – прямо в буфете, в подсобке. Была внезапная ревизия, у неё открылась недостача, двадцать семь тысяч, Феня пошла под следствие, потом под суд, но к тому времени он уже устроился помощником диспетчера на автобазу и мог какое-то время существовать вполне самостоятельно. За Феню он очень переживал и был бы рад ей помочь, но, спрашивается, как и чем? Ещё хорошо, что он не расписался с ней, а то и его потянули бы к ответу.

Последний раз он видел её на суде. Она похудела, осунулась. Правда, походка у неё была всё та же – основательная, тяжеловатая, грузная. И глядя, как она идёт к загородке для подсудимых, он подумал, что человек она физически сильный и сколько бы ей ни дали, она не пропадёт. Она увидела его, и тень улыбки скользнула по её лицу, и в усталых, измученных глазах проступил краешек неба.

Ей дали семь лет. Постой, а не десять? Тогда строго было. Ай, да какая разница! Всего, что было в жизни, не упомнишь. А помнит он, что очень горевал, недели две не находил себе места.

– Ну что вы убиваетесь, ей-богу, – сказала ему однажды в обеденный перерыв повар Тоня. – Человек рождён не для горя – для радости. Как птица для полёта.

И он снова расправил крылья.

Тоня была мать-одиночка, и он потянулся к её озябшему сердцу, к её маленькому сыну, тоже ласковый был, славный мальчик. Как же звали его? Надо бы вспомнить.

В течение жизни ему некогда было подумать, за что его так любят женщины. Кроме своей мужской силы и нежности, от которой опять же хорошо было ему, он ничего им дать не мог. Но с другой стороны – незамужних женщин было так много, а мужчины после войны были в таком дефиците.

Погружённый в свою неподвижность, он начал было припоминать женщин, которые пошли ему навстречу, любили его. А расставанье каждый раз было связано либо с бедой, либо с руганью и скандалом. Но ведь вначале была страсть, он с ума их сводил, и сам сходил с ума, а в итоге получалась тьма египетская. Такая вот, значит, не очень занимательная арифметика выходила.

Пришла как-то и вовсе странная мысль. Почему, пока он был при руках и ногах, он не поинтересовался, как сложилась у них жизнь? Может, кому-то нужна была его помощь, и он смог бы её оказать. Жили-то, поди, в одном городе, бок о бок, и жили как чужие, ненужные люди. А он мог бы кое-кого поддержать, отогреть и утешить – добрым словом своим или делом каким пустяковым, его сделать не стоит труда, а человеку, глядишь, легче б стало дышать, легче мыкать свою бесприютную, одинокую долю.

Мысли эти были бесполезные, толку от них ни на грош, и в доброе время он не стал бы их думать. Но какой уже месяц он лежал без движения, жизнь вышла из-под его контроля, и он не отвечал за то, что с ним творилось. Даже муху отогнать от себя ему было сложно, а думки – ими дурак богатеет – они вреднее назойливых мух.

Зачем, кто скажет, ему вспомнилась Феня? На кой ляд она ему, когда он смерти проклятушей ждёт как единственного своего и последнего избавления? И ладно б оживали в памяти приятные моменты, всё скрашивали бы ему боль и запустение. Так нет же, гадский род, про суд, про недостачу лезет в голову. Про то, как Тоню загребли в ОБХСС с полной сумкой продуктов столовых. Выпутывалась она из этой истории долго и трудно, и он опять же ничем не сумел ей помочь. Вот интересно, Тоня его помнит или забыла – если жива, конечно. А если помнит, то по-доброму или до сих пор проклинает в душе?

Вот не может он припомнить, как звали Тониного мальчика. Поди уж в возрасте, при детях и семье. Как у него сложилась жизнь? Ведь он, шельмец, навострился звать Богатырёва папой и очень плакал, когда Богатырёв собрался от них уходить.

Чтобы не быть со всех сторон виноватым, Богатырёв начинал рассуждать, что человеку за время жизни с лихвой отвалено добра и зла. И сам человек, какой ни будь он добрый, но не сахар он варит, а живет и, значит, не только доброту источает, но и зло творит поневоле. И ладно бы корысти ради, но и бескорыстно тоже – по велению сердца, по зову души.

А разнузданная память работала безо всякой пощады – без понимания того, что нет у человека сил её приструнить или хотя бы от неё отмахнуться.

Два дня назад явилась вдруг Маня с гитарой. И не та, какой она стала на старости лет, а та, какой была в пору их встречи – в пору любви, восторгов и страшных, до мордобоя, обид.

Своей гитары у неё отродясь не было. Но мечтала Манечка, мечтала:

– Дом продам, куплю гитару.

Жили они вдвоём – она и мать – рядом с бараками, в глинобитной халупе. И если б кто позарился на те хоромы, купил их, то выручки как раз хватило б на гитару. Ну, разве что ещё на пузырь, чтобы гитару обмыть.

Да, явилась, значит, Манечка в своём самом наилучшем виде и заявила ему:

– Ухожу от тебя, Коля.

– Ну да!

– Ухожу к художнику-моменталисту.

– Постой, а пацаны?

– При чём тут это? Мы будем картину писать «Изобилие». Снопы, сельхозживотные, луга и нивы. Представляешь? И не в натуральную величину, а в два-три раза больше. Чтоб видно было, Коля, далеко.

– Угу, представляю. А пацанов куда?

– Это на выставку достижений, – Маня не слушала мужа. – Госзаказ у него. С тебя, говорит, Мария, буду писать тружениц полей и ферм. Я, говорит, увеличу тебя и возвеличу, размножу и растиражирую. Ты моя муза-современница.

– Чёрт-те что!

– Не чёрт-те что, а выезжаем завтра. На целину. За впечатлениями. Живых коров рисовать.

– Бредятина. У меня рейс в девять ноль-ноль. Вот, X-15. Меня ждут в экспедиции с грузом.

– Ревнуешь, Коля.

– Жуть!.. Да завертись ты со своим кобелём-монументалистом! Пиши портреты коров, тракторов – чего ещё там? Мартенов. Детей куда денешь?

– А ты, Коля, эгоист. Махровый.

Она тронула рученькой струны гитары, они заговорили наперебой, торопясь и картавя, про страсти-мордасти и роковую любовь. Тут и Маня возвысила голос:

– Я тебе сыновей родила или нет? Из плоти своей исторгла. Как римская волчица молоком своим вскормила. А ты?

– Чего – а я?

– Что ты для них сделал, отец?

Это «отец» у Мани прозвучало как «подлец». И нет, чтобы сбавить обороты, разрядить атмосферу, она совсем напротив – выставила вперёд свои козьи груди, провоцируя его, чтобы он выхватил у ней гитару и той гитарой долбанул бы Маню по её маленькой змеиной голове. Она его бесила своим норовом, и, гадский род, за это он её любил. Бескрайняя была – не знала края.

– Ты вот что, римская волчица, – ты лучше пой.

Ведь ни голосу не было, и слух – полуслух, и на гитаре играть не могла, у неё три аккорда на все случаи жизни. Но запоёт, зараза, невзрачным своим голосишком «Всё васильки, васильки, сколько вас много на поле» или «Степь да степь кругом...», и зазвенит, засеребрится каждая струна, да не в гитаре, нет, в душе твоей, может, вовсе не певчей, не певшей никогда, немой и безголосой, а вот, поди ж ты, пробудившейся вдруг. Умела Маня негромким своим голосочком достать человека, войти в закоулки сердца, куда сам человек за всю свою жизнь, может, и не заглянет ни разу.

Богатырёва её васильки прошибали до слёз.

– Это ж надо! – изумлялся он. – Душа паскудная, а как поёт!

– Дак опаскудил кто её, Коленька? Ты...

И она предлагала ему краткий перечень его побед на женском фронте – побед, про какие знала, какие утаить ему не удалось:

– С Надькой Жангаревой путался? Супруг её законный тебе медаль под глаз навесил? А ты не косороться, из песни слов не выкинешь.

– Какая чушь! – сокрушался Богатырёв. – Надежда была с ним в разводе. И я пытался её оградить от посягательств...

– Ишь ты – оградить! Ты сколько раз отправлял её на аборт? Это я нашлась одна такая дура – взяла тебе и родила. Одного за другим. Сразу двух.

– У-у, куда ты поехала...

– Куда надо. Нюрку-продащицу тоже ограждал? И Вальку-кондитершу?..

Самое обидное, что с Валькой-кондитершей у него как раз ничего и не было.

– Зачем тебе всё это, Маня? Ты о детях подумай, о детях...

– А ты о детях много думал?

И поскольку он, с одной стороны, не мог унять её жара, а с другой – и гитару не выхватывал... Как это – зачем? А вдарить по её голове неразумной – она ух как загудит, гитара то есть. Ага, она сама пускала в ход гитару. И начиналась такая музыка, такой дуэт выходил, что, господи, спаси и помилуй.

Прибегала Ленка Попова. Отнимала гитару, уводила пацанов.

Пацаны пугались и плакали только поначалу, потом привыкли. И когда разгоралась полосовка, ребятишки не мешали им, а выжидали, чем кончится ихняя схватка. Если из дому уходила мать, вещички собирал по-быстрому Валера и плёлся следом за ней. Если наступала пора отцу уходить, то Валентин – учебники в портфель, одежонку в охапку и тоже ходу за отцом. Родителей они поделили сами и не путали их.

Поскольку Богатырёв с Марией не согласовывали планы друг друга, случалось, что они разбегались в разные стороны, и пацаны оставались за хозяев в доме. Они наловчились неделями выдерживать осаду нужды и временного сиротства.

После бурь и отлучек проглядывало солнышко, начинались приступы любви и семейного счастья. Изнурённые самостоятельностью пацаны охотно слушались отца и мать, во всём им потакали.

Мария летала на крыльях супружеской верности и материнской любви. Она в порыве самоотречения наводила в доме шик и блеск, варила кастрюлю борща и с умилением, со слезой во взоре смотрела, как её мужики после затяжной голодухи рубают борщ и просят добавки.

– Есть же на свете несчастные люди, у которых ни семьи, ни детей.

– Не говори! – соглашался Богатырёв и тихонечко толкал её в бок. – Хороших мы растим парней.

Это счастье могло держаться полдня – ну, день. А дальше начинались всякие открытия. Мальчики могли закурить. И не таясь, будто это в порядке вещей. Да рано им ещё! А на замечание матери могли ответить так изобретательно, что Богатырёв, бывало, хохотал до слёз.

– О! Они мать родную шуганули трёхэтажным матом, а этот сивый мерин ржёт от радости. Как будто он здесь ни при чём.

Он вытирал слёзы, подавлял в себе смех.

– Вы... это... она всё ж таки мать, – говорил он с укоризной, пытаясь оживить в их сознании рудименты сыновних чувств.

Её он тоже старался умиротворить:

– Да ладно, Маша. Не бери близко к сердцу. Брань на вороту не виснет.

Это, конечно, если они ответили ей, и если она ещё не дозрела по другим поводам, оно могло тут же как-то заглухнуть. Но таким же манером они могли отбрить и самого Богатырёва. Тогда уж хохотала до слёз Мария, у неё с юмором тоже было всё в порядке.

– И это мать родная! – горестно сокрушался Богатырёв. Откуда, интересно, в человеке берётся педагогический зуд? Ну, возмущился бы, дал подзатыльники и – всё, умолкни, Коля, не возникай. Так нет же, нет: – Какой ты пример подаёшь своим детям? И она ещё удивляется, что они отца ставят ни в грош! А ты не плюй в мой колодец. И руки... руки не распускай.

Всё же в смысле теории он был сильнее Марии, мог запросто её заткнуть за пояс, она обычно первая срывалась в рукопашную. А пацаны, обескураженные промахом, держали наготове свои вещички, чтобы в любой момент ринуться за родителями. Куда? А хоть куда. Всё же с отцом или с матерью мыкаться было легче и веселей, чем биться с жизнью в одиночку. Они когда чуть подросли, всё выложили им как есть. А он-то, старый пень, думал, что Валентин к нему привязан больше всех на свете, и это из любви к отцу, из сознания отцовской правоты он готов делить с ним превратности неустроенной подвижнической жизни.

«Где-то я не досмотрел парней, упустил их», – думал он, глядя на космонавтов, они без отдыха, круглые сутки висели над ним на потолке, неусыпно сторожили каждое его шевеление, фиксируя всё, что с ним происходит и собираясь принять какие-то свои, ему ещё неизвестные меры, но не спеша при этом и явно выжидая. Его тревожило, что он не видит их лиц за прозрачными и, наверное, сверхпрочными щитками гермошлемов.

Он пытался выйти с ними на связь, чтоб через них воздействовать на сыновей, но энергия, которую он излучал, была слишком мала, а пополнить её было нечем. Он позабыл, когда ему давали есть. Голод его не очень-то мучил. Видно, отчаявшийся организм приспособился прерабатывать секретные свои резервы и очень экономно тратил их на поддержание собственной жизни. А вот от жажды не было спасения. Он знал, что у него колит, неврит, простатит и, итит твою мать, чего там только нет! Он знал, что надо помирать, другого выхода нет, и собирал последние остатки сил, готовясь к этому событию.

Он чуял, что эти двое парят над ним неспроста – они, наверное, вроде проводных, и он пытался смекнуть, как вести себя с ними: таиться или не темнить, быть откровенным? А вдруг они такие же прохиндеи, как Валентин с Валеркой? Тогда его дело швах, они здесь просто отбывают время и ждут не дождутся, чтобы втихаря слетать на ближайшую станцию за бутылкой. Толк от них какой? А никакого толку, всё будут делать через пень-колоду, всё перепутают, пере забудут. Ну да, они уж сколько торчат здесь, а не ударили палец о палец. И надо б срочно отозвать их, заменить другими, но как сообщить их начальству? А главное, поди узнай, в чём они подчинении?

Занятый этой серьёзной проблемой, Богатырёв не обращал внимания на сыновей, они шарашились по дому, исчезали, опять появлялись. Изредка он безадресно требовал пить, понимая, что ни эти двое молчаливых в скафандрах, что неподвижно угнездились на потолке, ни те, что слоняются по дому и без умолку молотят языком, – у него временами виски ломило от их крикливых голосов, – никто не даст ему напиться.

И вдруг что-то изменилось в мире. Нет, те двое на потолке по-прежнему молча следили за ним, но он почувствовал у губ своих стакан с водой, ему даже голову приподняли вместе с подушкой, чтоб легче было пить. Значит, какой-то этап в его теперешнем положении кончился и начался другой. Телу стало холодно, оно словно высвобождалось из отвердевшей, заскорузлой оболочки, сбрасывало кокон, начинало дышать и будто бы готовилось к полёту.

Он постанывал от боли в пролежнях и от озноба. Но вскоре он успокоился, тело его погрузилось не то в мягкие ткани, не то в пух, и усталая кровь пригнала из глубин организма остатки тепла, он пригрелся и теперь уж вовсе приготовился лететь с теми двумя конвойными в скафандрах.

Но тут к нему подсела Ленка Попова, да старая такая, какой он никогда её не видел. Это ж надо, как бабу устряпала жизнь! Как она тут появилась?

– Здравствуй, что ли, Николай.

Наверное, так надо. Здесь распоряжаются те двое с потолка, хочешь не хочешь, надо им подчиняться. Он на всякий случай поздоровался с ней, моргнул своим ещё живым глазом... Ох-хо-хо!..

А интересно, как у Ленки жизнь сложилась? Жива ли? Ох, и болтливая баба была! Хоть про тебя, хоть про себя, хоть про кого – на всю округу разнесёт, ничего утаить не сумеет. Ну, пим дырявый, и всё тут.

– Ты помирать, что ли, собрался или как? А я вот гляжу на тебя, Николаша, и думаю...

У-у, если уж она думать начала, её не остановишь, чесать языком будет, пока и в самом деле не помрёт.

– Прожил ты жизнь свою в своё удовольствие, а подыхаешь, как собака, никому не нужный. И грустно мне, Коля, я вроде сочувствую, но никакой несправедливости тут нету. Потому что человек, Коленька, сам себе добывает и счастье, и горе. Есть судьба или нет, не знаю, но, как говорил мой Петя незабвенный, мой любимый от меня сбежавший муж, судьба – это наши поступки, а также проступки.

III

Богатырёв сказал ещё раз: «Ох-хо-хо!» А Ильинична устроилась поудобнее рядом с ним, вслушалась – не в слова, а в собственный голос, и так ей стало хорошо и печально, что захотелось рассказать самой себе о том, что затаилось в дальнем закоулке сердца, о чём рассказывала только Мане, так то была ближайшая подруга, а больше кому расскажешь? Она и рассказала бы, да кто слушать будет? Кому, кроме тебя самой, нужна твоя промелькнувшая, отстрадавшая, отгоревшая

жизнь? Вот он лежит парализованный, гусар летучий, гренадёр ползучий, ему ни охнуть, ни вдохнуть без посторонней помощи, а сколько он кровушки попил из нашего брата, то есть... из нашей сестры? Но тут же одёрнула себя: что бочку катишь на мужика? Был он, собака, красивый, жадный до впечатлений и, слава богу, безотказный. Не мог он женщину обидеть невниманием. А то, что каждая хотела взять его в мужья, так в этом он не виноватый. Помог он тебе отогреться, грусть-тоску заглушить на груди своей временной пылкой, скажи ему спасибо дай выпить-закусить и довольная живи в своём одиночестве дальше. Так нет же нет. Мы, бабы, устроены как? Мужик нас приласкал, приголубил, дак вместо того, чтоб этой радостью с подругой поделиться, мы норовим заграбастать его в своё безраздельное пользование. Мой! Никому не отдам.

И было бы за что бороться, за что воевать. За то, чтобы могла поить-кормить мужика, ублажать его эгоизм безутешный?.. Я почему к тебе, Коля, сунулась тогда, в сорок седьмом? А чтоб забыть мово Петеньку ненаглядного, он и по сию пору, как петушок – золотой гребешок, нет-нет, а и царапнет своей шпорой, своим коготочком моё неразумное сердце. Теперь-то уж я спряталась за брови чёртовы-чёрные, в них как в дебрях могу поблукать, поразвевать свою грусть-тоску, коль накатит как дождик осенний. Тут хоть полаешься, хоть приластись в зависимости от настроения, от обстановки, стало быть, международной, потепление там или похолодание. И вот, скажи ты, сколько лет прошло, дороги пройдены, ошибки сделаны, жизнь идёт на закат, а вспомню Петеньку, и в жар бросает. И прожила я с ним всего ничего – полгода, но, веришь ли, была счастливая, как никогда. И чем он взял? А деликатностью, лаской, вниманием. Любил не в своё удовольствие, а всё спрашивал в минуты самые самозабвенные: тебе, Леночек, хорошо? Всю жизнь потом я как раба вам служила, мужчинам. И только с ним, пока он был рядом, узнала, что можно жить возвышенно, красиво – ну, прямо, как в кино, и я в главной роли. Он, слышь ты, стихи мне читал.

А ночевали мы с Петром в светёлке-спаленке, какую так и не построил муж мой первый, Богом данный и Богом отнятый, Серёженька. То есть Серёжа все распланировал, всё приготовил для стройки, саманный кирпич налепил-насушил. И выбрал как-то воскресенье летнее, а утро было тихое, ясное... Ну, он за полдня, пожалуй что, стену возвёл – одну из трёх в прихожей. Там и под вид фундамента основание было, и проём для окна. Он, помню, стену кладёт, а я на подхвате, рядышком. Работа тяжёлая, а сердцу так это легко, так радостно. А он смиренный, улыбчивый, приостановится, вроде как прямизну проверяет, а на самом деле – мне чтобы дать передышку. Я тебе, говорит, комнату, ты мне – сына. А двух рожу? Это я ему, значит. Он аж глаза зажмурил:

– Я тебе, если надо, к этому бараку ещё один такой пристрою.

Не успел. Опередили. Он будто подгадал: как раз в то воскресенье война началась...

Начнись она недели на две позже, он, глядишь, и успел бы слепить ту пристройку. А Ильинична потом каждого мужа своего пыталась пристроить-приспособить к этой стенке, достроить светёлку. Но то ли он ей один такой попался, рученьки мастеровитые, спорые, то ли не задерживались они у неё всерьёз, надолго, чтобы проникнуться жизненной важностью стройки. Или были чуток не от мира сего, как Петенька, хотя ведь после, уже за пределами семейной жизни с ней, был он директором хлебозавода и даже главным инженером строящегося элеватора. Но это двадцать пять лет спустя, а при Лене он был как дух святой, язык не повернулся бы его заставить гвоздь прибить, не то что грубой стройкой заниматься. Может, ранение так на него повлияло, что мог он только про искусство толковать. Там

под правой лопаткой была выемка, чуть ли не кулак входил, и коленная чашечка разворочена так, что и не верилось, будет ли гнуться нога. Ну а этот, в бровях, кой он, к лешему, строитель!.. Да и надоба в стройке отпала, ждали со дня на день, что барак их снесут. Правда, что находились в нетерпеливом и чудесном ожидании – сколько? А десять лет. Их переписывать начали, когда она ещё Игоря грудью кормила, а сюда переехали, Игорь в четвёртый класс пошёл...

Да-а, про что это я? А, про мужа Петю... Ночевали мы, значит, в той недоделанной спаленке, а саманная стенка отгораживала нас от двора, от завистливых взглядов, от клопов, они, паразиты, шастали и тут, но не донимали, как в доме.

– Они на улице робеют, – говорил Петя. – Видишь, они краснеют от смущения.

Ага, шептались над нами звёзды, за стенкой яблоня цвела, ломилась к нам в оконный проём. И среди ночи нас будила то майская гроза – с ливнем, молнией-громом, аж небо разлеталось на кусочки, мы тут же мокрые насквозь ныряли в раскрытое окошко в дом... То соловей свистел, да так забористо, что облетал над нами яблоневого цвет.

И вот лежим мы среди ночи, а он мне на ухо, шёпотом, да так ладно-складно, с таким смыслом-чувством, что, мать честная, лежу я сама не своя. И слова все простые, знакомые, а вроде как ненашенский язык. Ну нет в них подлости, какую язык почём зря молотит, без всякого спросу, – не подзаборные слова, а будто с поднебесья... И в театр меня он водил. В оперетту, в драму. И в оперный. Я потом за всю свою жизнь раза два побывала в театре. И то – на торжественных собраниях, вроде как по разнарядке.

И прожила я так вот, прямо как на облаке, пять месяцев и ещё двадцать дней. Потом у него вышел срок лечения, и ему надо было снова подаваться на фронт. Мы, бабы, народ, конечно, сумасшедший. Войне конца не видно, мужики гибнут без разбора, а я вот ни столечко не сомневалась, что мы с Петей встретимся снова. И он мне шёпотом будет читать про ангела-полуночника, про светлую печаль...

На перроне, помню, морось мелкая, то ли дождь, то ли снег, погода вся в недоумении. А я прижимаюсь к его гимнастёрке, и каждая пуговка на ней была мне родной и желанной – до колотья в висках и дрожанья в коленках. И я смотрю на него, как на последнее своё спасение. А лицо у него мокрое от непогоды и виноватое, будто бы это он не смог, не сумел остановить её на время – войну. И он дрожащим пальцем всё снимал с моих бровей то ли дождейки, то снежинки – поди, разберись.

Потом он сжал меня, да сильно так, я аж застонала от боли и тоски. Он оторвал свои руки от меня, вспрыгнул на подножку вагона, его тут же затолкали вглубь тамбура. Ну и рученька его поверх голов помаячила немного, и всё – нету Петеньки, поминай, как его звали. А я всё думаю, Коля: почему он был такой виноватый? Знал, что расстаётся навсегда, и уже тогда, поди, давал мне отмашку: оставайся, мол, лавка с товаром, и меня, дескать, лихом не поминай. Так, что ли, нет?

Получила я от него два перевода по аттестату – тысячу двести и тысячу сто пятьдесят. И не сам он прислал их, а его командир. А Петю снова ранило в первом бою, мне тот командир написал про это. Сам Петя – ни слова, ни полслова, ни строки. По госпиталям замотало. И медсестра, наверно, сразу же подвернулась, медсёстры – они страсть как любят стихи.

Вот и всё. Улетел мой соколик, ни слуху, ни духу. Ни тебе переводов, ни похоронки, ни писем. Пыталась его искать, но он, видать, затаился и не очень-то отыскивался сам.

Что было дальше? А дальше была жизнь. Ты, Коля, бодался с Манечкой, я тоже жила душа в душу с Гаврюшей бровастенкиным. Мы уж тут обживались, в

новом доме. Игорёшка у меня в самый раз кончал журналистику. А я устроилась машинисткой в эм-вэ-дэ. Перетрухнула вначале. Генералы-полковники вокруг, по имени-отчеству, да не просто бумагу сунули в зубы – печатай, а – «будьте добры», «благодарю вас», «слушаюсь»... Года полтора я проработала. Присмотрелась-пригляделась. Дай, думаю, поинтересуюсь: нет ли где каких сведений о моём ненаглядном. Делаю, значит, запрос. А мне, трах-бах, в минуту сообщают: Голубев Пётр Иванович, 1916 года рождения, домашний адрес: Ярославль, 9-я Шоссейная дом 133-а, квартира 5. Место работы – директор хлебозавода.

У тебя воображение, Коля, есть? Ты мне скажи, что я должна была испытывать в ту самую минуту, когда взяла в рученьки этот загадочный адрес? А? Представляешь? Меня и в жар, и в холод, гадский род, бросает. Радость-то какая, Петенька, директор ты мой незабвенный, крендель ласковый, калорийный – я же скушать тебя готова вместе с твоим хлебозаводом. Что ж ты скрывался от меня целых двадцать пять лет, соколик ясноглазый, скрывался, как зломстительный рецидивист?

И что ты, Коля, думаешь? Посылают меня в командировку, в Москву. Ну, думаю, это подарок судьбы, Ярославль под боком, мы этот шанс не упустим.

Собралась я так, будто еду в Париж. Туфельки-лакировочки, грация-обжимания, юбочка-блузочка – фасон «смерть мужьям». И пиджачок – «мэйд не наше». Умри, но лучше не бывает.

Думаешь, всё? Не-ет, я полдня просидела в парикмахерской в очереди. Там есть одна такая парикмахерша, она не всех принимает, и даже не через одного.

– Что будем делать? – говорит. – Стричь-брить, красить-завивать?

– Не знаю, – говорю. – Мне нужно одного мерзавца проучить. Чтоб глянул на меня, и чтоб ему покоя после этого не было. Ни на том свете, ни на этом.

Она походила вокруг меня, ножницами пощёлкала:

– «Ночь в Истамбуле» подойдёт?

– Давайте, – говорю, – в Истамбуле. Но только – чтобы ночь. Непроглядная. Чтобы – ни зги.

Понял? Я потом боялась, Коля, на себя смотреть. Нет-нет, а и гляну в зеркало. А оттудова, тоже исподтишка, така-ая бабеч с прибабахом выглядывает, что, Коля, где мой чёрный пистолет?..

И вот сиюж я, Коля, вся из себя в приёмной этого хлебозавода. Как делегатка женщин Аргентины. Или этой... Зеландии. Новой. Волнуюсь так, что мамонька родная. А за дерматиновой дверью сидит мой Петенька. Директорствует как ни в чём не бывало. И не подозревает даже, сердечный, что ждёт его в приёмной крупный сюрприз. Ага, ждёт его законная красавица жена, покинутая им двадцать пять годочков назад. И тебе не икалось за это время ни разу, муж мой ласковый-нежный? Не просыпался ты среди ночи от кручины-тоски, от одиночества лютого, от слёз моих, от голоса мово, тебя зовущего?.. И так вот, теряясь в догадках, готовлюсь я к радостной встрече – жду, когда пригласят. На столике у секретарши телефонные звонки в три голоса, и сама она, как белочка, пушистая-душистая, одной рученькой стрекочет на машинке, другую не спускает с телефонной трубки. И всем, кто спрашивает директора, отвечает, что Василь Артемьич у себя, но заняты, что принимать Василь Артемьич будут позже.

И тут среди этих переживаний я задаю себе вопрос: а при чём здесь Василь Артемьич, на кой ляд он мне сдался? И с тем вопросом начинаю обращаться к пушистенькой секретарше. Та хлопает глазами на меня недоумённо. И тут я вижу, что на дерматиновой директорской двери написана фамилия мне совсем не нужная. Здрастье, приехали!..

– А где же Голубев? – спрашиваю. – Где Пётр Иванович? Куда он снова скрылся от меня?

Тут секретарша начинает врубаться и уточнять кой-какие данные, которые меня интересуют:

– А Пётр Иванович два месяца как не работают у нас. Пётр Иванович – главный инженер ударной стройки. Слышали? Элеватор-гигант у нас строится...

Нет, говорю, ты так легко от меня не отделаешься, я покажу тебе ночь в Истамбуле. Я должна, Петенька, слышишь, должна заглянуть в твои глазонки ясные и задать тебе один-единственный вопрос. Какой – не знаю, но – должна.

И потащила я, Коля, в другой конец города, к тому ударному гиганту. Дорога, слушай, ни к чёрту. Пыль по колено, даль несусветная. Ну, думаю, гори он синим пламенем весь мой марафет, не пожалею ни ног, ни лакировочек, а как Пенелопа какая-нибудь сумею глянуть своему мужу в глаза.

Ну, добрела я до той славной стройки. И вот, скажи ты, меня будто в спину толкает кто. Там накопано, нагорожено, а я, в аккурат, вышла туда, где Петенька мой в тот момент давал свои ценные указания. Вижу я, стоит он ко мне спиной, и надо б подойти, окликнуть, а у меня силёнок нет, того и гляди, упаду. Я говорю:

– Позовите мне вот этого товарища.

– А вы сами к нему подойдите.

Да подошла бы я, подошла, но, веришь ты, ноги подкосились, не идут.

Тут он и оглянулся, тут он и увидел меня...

Человек я, Коля, бывалый, меня мало чем удивишь. Но чтобы у мужика так тряслись коленки, это, Коля, я видела первый и последний раз в жизни. Он идёт ко мне, а у него не только коленки трясутся, у него зуб на зуб не попадает, руки пляшут, лицо ходуном ходит. От удивления...

Тут Ильинична притормозила свой рассказ. Чтобы перевести дыхание, глубже вникнуть в переживаемый момент. А главное – уточнить, насколько всерьёз проникся слушатель этой бредятиной, в какую и она едва ли поверила бы, когда б не довелось пережить ей всё это самой. Если слушатель попадался отзывчивый, она пускалась в подробности, ничуть не привирая. Память и годы произвели здесь строгий отбор, случайные мелочи отпали сами собой, остался лишь верняк, осталось лишь то, что не могло не произвести впечатления. И дрожание в коленках, и тряский, как в ознобе, голос. И жалкая трёшка-заначка, он прятал её в брюках чуть ли не в ширинке. И повёл он её в ресторан ни куда-нибудь – на вокзал, всё ближе к поезду, а у неё билет уж был на руках. И всё втягивал голову в плечи, как бы таясь от буфетчицы и официанток.

– Ты им должен, что ли?

– Нет, это подруги Зоины.

И чтоб не вводить его в грех окончательно, она взяла расходы на себя. А когда бабахнуло шампанское, Ильинична провозгласила во всеуслышание:

– Что ж, муженёк, выпьем за старую дружбу, которой уже двадцать пять лет.

Потом он, захмелевший, тянул её в глубь привокзального скверика – в рябинник, в сирени, подальше от фонарей и посторонних глаз.

На что она сказала ему просто:

– Былого, Петя, не вернуть.

А он потерял, видать, голову и, как в горячке, повторял:

– Какой я дурак! Ты ведь любишь меня. Я только сейчас это понял. Если б знать это раньше, если б знать это раньше...

И порывался её целовать. А она ему говорила: «Возьми себя в руки» и «Ах, только этого не надо!..» И если слушатель был благодарным и очень доверчивым,

она могла поделиться словами, какие сказал ей Петя напоследок, уже на перроне, уже когда тронулся поезд:

– Как я жестоко обманут судьбой.

Но слушатель мог быть не очень доверчивым и даже очень не доверчивым. И тогда не имело смысла метать бисер и вообще входить в подробности. Тогда Ильинична умела быть сдержанной, скупой на чувства и слова, и как бы уходила вся в себя, давая понять, сколь тягостны ей те воспоминания, впадала в меланхолию и даже могла поразить скупой и немногословной слезой.

Она и тут увлеклась, вошла в раж, но оппонента не было, Богатырёв не в счёт, он, как бревно, бесчувственный, ну а перед собой не будешь ваньку ломать. И в какой-то момент она озадачилась, сникла, осознав, что у неё самой к той истории нет ясного и личного, от сердца идущего отношения. То есть отношение было, но скрывала она его от себя, чтобы не надирать своё сердце, не бередить обиду и горе, не провоцировать инфаркт. И очутившись, может быть, впервые наедине, без свидетелей, с тем горестным воспоминанием, она долго молчала, глядя на всю эту космическую муть по стенам и потолку.

Ей захотелось зачем-то поплакать. Сначала она плакала тихо, покорствуя слезам. Но человек она была увлекающийся, вполсилы ничего не делала. И через минуту уже рыдала в голос, будто над покойником, оплакивая промелькнувшую когда-то впопыхах любовь, оплакивая жизнь, тоже промелькнувшую. И в тот промельк надо было успеть истратить сердце на любовь и материнство, испить всю чашу радости и горя, какую припасла тебе судьбина, чтобы встретить закат своих дней без упрёков и сожалений. Она никогда не скупилась на чувства и раздавала тепло своей души всем, кто в тепле том нуждался. Но отчего тогда ей тревожно и больно, как будто её обворовали, как будто она по чьим-то делам неотложным долго-долго не была у самой себя дома, а довелось вернуться – тут всё повыворочено вверх дном, и забраны самые лучшие, самые ценные вещи. Дело не в их стоимости и не в бардаке, какой оставили после себя грабители. Душа изгажена – вот что больней всего. И никого за это не накажешь – вор улизнул, никак не замечен, никем не опознан. Может, он рядышком шастает, под боком живёт – тот, кто выкрал у неё любовь, счастье, молодость, кто её обездолил.

И она ни с того ни с сего обрушила всю свою ярость на безгласного парализованного старика Богатырёва:

– Ах ты, скотина безрогая! Мало тебе было твоего гарема, дак ты и меня прихватил туда ж, для круглого счёта. Заманил в своё логово волчье, обольстил, обнадёжил. И я-то, дура набитая, в сорок седьмом одиноком, в тоске по Петеньке, муже моём запропащем, пришла к тебе ноченьку скоротать. Или забыл, гад ползучий, какая у тебя была скрипучая кровать? Ни сетки панцирной, ни матра-са путёвого – голимые доски и патефон «Вдыхая розы аромат». Ты ж меня, как рабыню египетскую, всю ночь на тех досках казнил. Как вспомню, все косточки ноют.

Он таращил на неё свой испуганный глаз, а она в порыве чувств принялась молотить кулаками его костлявое безвольное плечо.

IV

Он так и сказал ей:

– Рядом с вашей жизнью должна идти легенда.

Причём лицо у него было совершенно серьёзное. Она даже перестала снимать грим бумажной салфеткой, лигнина вечно не хватало:

– Но тогда я буду не женщина, а... Штирлиц.

Он и ухом не повёл:

– Вы меня интересуете не легендарная.

Вообще, мужчины бывают последовательны, как девицы на выданье. Впрочем, он журналист, у него это профессиональное.

– Так что же мы будем делать: сочинять легенду обо мне или...

– Или, – сказал он. – Для полноты картины я хотел бы вас видеть не только в театре. Значит, так: выходной у вас в понедельник. А что, если вы пригласите меня на домашние пироги?

– Идёт, – она снова принялась снимать грим. – Но учтите, я с мужем в полуразводе...

– Не думаю, что вы будете ко мне приставать.

Ага, нарвалась.

– Наглец, – вздохнула она.

– Простите.

– Прощаю.

С прессой надо играть в поддавки, но нельзя же утрачивать бдительность. Впрочем, сегодня был тяжёлый день, а вечером спектакль, и надо успеть произвести реставрацию организма, чтобы и вечером быть на уровне. И как бы итожа сюжет их отношений на сегодня, она улыбнулась уже без всякого кокетства, не скрывая усталости:

– Значит, в понедельник.

Она представила себе пять долгих дней неизвестности, ожидания и, естественно, дополнительной нервотрёпки. Потому что, как ни верти, а понять, что ему надо от неё, он и сам едва ли понимает. Избавиться бы от него быстрее, от его цепких, ждущих и смущённых глаз, от виноватого покашливания и неуверенных вопросов, от которых собственная жизнь вдруг кажется неуверенной и тоскливой, хотя он спрашивал вроде и не о тебе, а о твоей новой роли, в которой тебе самой всё так же неясно, как и в собственной жизни. Нет, в самом деле, он нависает надо мной, как возможность стихийного бедствия, добавляя новый стрессовый момент. Пстой, пстой, а может быть?..

– Минутку.

Она заглянула в свой поминальничек, куда записывала время репетиций и спектаклей, в которых предстояло играть. Так и есть: днём пятница свободна. Странно. Может, я забыла записать? Ах, да: на пятницу театр закупили не то литераторы, не то кооператоры, у них то ли съезд, то ли слёт. Вот и пусть слетаются, голубчики, а я тем временем назначу встречу с этим застенчивым удавом.

Он ушёл, и, слушая, как затихают его шаги в лабиринте закулисных коридоров, Богатырёва уже наедине, без свидетелей, попыталась осмыслить ситуацию. Она свела брови к переносице и, близоруко щурясь, с неприязнью стала рассматривать своё лицо. В нём проглянуло нечто хищное. Не львица, нет. И даже не волчица. Скорее уж немолодая, уходящая от облавы лиса, явно побывавшая в безжалостных собачьих лапах. В кино ей пришлось бы играть молодящихся свих и стареющих ведьм. А в театре она ещё лет десять будет держать амплу женщины-вамп. Роковой, неотразимой, неотступной.

То, что газетчик ходил вокруг неё кругами, было неспроста. Склоку она исключила тотчас же. Тут было другое. Конечно, можно было предположить, что он ею увлёкся. В конце концов, ей ничего не стоило расплавить любого железного парня. Но к этим играм она уже утратила интерес. А он явно был женат, и семьянин, и при детях, и серьёзной вибрации чувств её сейсмографы не зарегистрировали. Нет, нет, тут было не это, другое. Она знала, что тут было, но не решалась даже

мысленно сказать всё это словами, чтоб не спугнуть не то, что словом – дыханием, движением души свою капризную и хрупкую удачу.

А театр жил, как всегда, в лихорадке, которая предшествует премьере, но воспринимается всякий раз как стихийное бедствие. И ладно бы цеха не успевали к сроку, это уж как водится: в швейном то спят, то, вытаращив глаза, строчат день и ночь, и в поделочном тоже дым коромыслом, они вечно горят синим пламенем, отсвет которого словно бы припечатался к лицу Амнистия Амнистиевича, бессменного зава поделочников. Вообще-то звали его Анисим Анисимович, это в документах и торжественных случаях. А за глаза да по закоулкам в театре величали бог знает! как возникшим этим вот несуразным «Амнистий Амнистиевич», на которое он вовсе и не обижался и не был в претензии, откликался с готовностью и даже с охотой.

Он внимательно и с интересом слушает, как его костерят на собрании: за то, что он срывает графики, за то, что ставит под угрозу выполнение плана, а значит, может лишиться премиальных родной коллектив. Иногда он берёт слово. Говорит кратко, по существу:

– Я её это... родить не могу.

– Кого? – интересуются из зала.

– Стенку. Кафельную. Метр двадцать на восемь метров. Мне нужен кафель. А кафель мне дали вчера.

– Позвольте, позвольте: почему это – вчера? – взмывает соколом директор. – Как это – вчера?

Директор впивается взглядом в снабженца, снабженец впивается взглядом в бухгалтера, а бухгалтер зорким орлиным оком глядит на директора. И дальше начинается бой пернатых, бой опытных турнирных бойцов, когда в ход пускаются хорошо отработанные модуляции голоса и неотступная риторика вопросов, и даже пух и перья, которые должны лететь в запальчивости битвы, – даже они втыкаются загодя и невзначай подставляются противнику. Несмотря на ярость схватки и её внезапность, здесь было всё заранее известно, как в классической шахматной партии. И лишь одно было неясно: когда же сделает Анисим Амнистиевич стену из кафеля, без которой спектакль не продвинется ни на шаг. А неясно было потому, что запивал Амнистий Анисимович вне всяких графиков и планов, и остановить этот стихийный процесс было так же невозможно, как прервать начавшуюся термоядерную реакцию. Избавиться же от него – смерти подобно, специалист он был, каких не найдёшь. И когда он однажды попал в вытрезвитель, сам директор ездил его вырывать.

Но в этот раз даже Амнистиевич был трезв и деловит, и злополучная кафельная стенка вот-вот должна была выехать на сцену взамен осточертевшей выгородки. И сделаны уже последние примерки костюмов, дострачивались оставшиеся стёжки, обмётывались петли. Но за неделю до генеральной – и это после многих переносов и подвижек сроков! – сам режиссёр никак не мог прожевать с актёрами первый акт, и чего-то тянул, и зачем-то медлил, и толочка без конца и края на одних и тех же эпизодах.

Уж который день подряд назначался прогон первого акта, причём не только для актёров, но и для всей техники. С утра на сцене крутились взмыленные монтировщики, и были задействованы осветители, радиоцех.

Ровно в одиннадцать режиссёр садился за столик, включал рацию. Столик стоял в центре зрительного зала, в проходе, у десятого ряда, и словно бы подчёркивал одиночество этого человека, тщету его усилий.

– Митя, ты готов? Юриваныч, у вас как – порядок? Анечка, давай команду к началу.

Зал погружался в темноту, она заполнялась плеском волн, криками чаек, гудками пароходов и хрупкими звуками скрипок. На сцену, громохвая роликами, выезжала невидимая пока ещё кафельная стенка. И тут, покрывая все звуки, завывала сирена скорой помощи, врубался свет, и в крошечной тишине белизна кафеля ослепляла, символизируя собой больничную палату. Актёры с места в карьер начинали говорить текст, навязывая зрителю обстоятельства пьесы. Но после первых же двух-трёх реплик режиссёр категорически возражал: «Нет, нет. Стоп! Всё сначала. Я же вам объяснял...»

Он выходил на сцену, и завязывалась в который уж раз нудная дискуссия о том, где кончается невидимая больничная палата и начинается воображаемый коридор, и в каком месте всё же стоят незримые двери, и на какой высоте нажимать кнопку условного квартирного звонка. Ибо кроме длиннющей кафельной стенки на сцене по сути дела ничего не было, и стенка эта, по мысли режиссёра, обозначала и операционную, и кухню в квартире панельного дома, и подземный переход через улицу, и вход в метро, и даже, прости господи, общественный туалет. Стенка эта овеществленно, назойливо, зримо обозначала и место действия, и время, и нашу спешную, на людях, неостановимую жизнь. Всё прочее было предельно условным и лишь изображалось звуками: бряканье воображаемых ключей в воображаемой замочной скважине, журчанье льющейся воды из незримого крана, скворчание поджариваемой яичницы на сковородке, а ткнул пальцем воздух в нужном месте, и раздаётся дверной электрический звонок. Герой спектакля жил, окружённый не вещами и предметами, а звуковыми их обозначениями, что обостряло призрачность, зыбкость вещного мира, в котором лишь одно бесспорно, вне сомнений – сам человек. Актёрам это было непривычно, они забывали, что где лежит, путались в невидимом реквизите, норовили пройти сквозь стену или войти в дверь, не отворив её, а это вновь и вновь приводило к дискуссиям.

Богатырёва устала от бесконечной говорильни, от бесчисленных поправок и уточнений по мелочам, а главное – от неопределённости, в которой она сама находилась, потому что замечания режиссёр мог делать кому угодно, только не ей. На разборе очередной сцены после репетиции она терпеливо ждала, когда он всем всё объяснит, всех отпустит. Он какое-то время делал вид, что не замечает её. Выключал рацию, убирал со столика бумаги, сигареты, зажигалку, больше никаких приспособлений тянуть время не было.

– Вы ко мне?

Она выжидательно смотрела на него.

– Я вас слушаю

– Это я вас слушаю. Ну скажите мне хоть что-нибудь!

– Да, да, конечно. Нам надо прожевать кафель.

– Это я слышала.

– Да? Хм... Понимаете, в мире есть две реальные силы: любовь и равнодушие. И ваша героиня несёт в себе оба этих начала.

– Вы мне что-нибудь конкретное скажете?

– Но это же очень конкретно! И звуки, и невидимый реквизит...

Он ваньку валяет или провоцирует её? На что? Чего он выжидает, хотела бы я знать?..

И назавтра, когда кое-как добрались до её выхода, Богатырёва с такой силой рванула вперёд, что полетели с петель все эти воображаемые двери. Из-за кулис завтруппой Анна делала ей страшные глаза, шипела: «Там стена! Понимаешь: стена...» Какая, к лешему, стена! Там боль – и не воображаемая, не условная, а настоящая, которая грозит инфарктом, потому что в реанимацию попал не

кто-нибудь – её сын, которого она так долго искала, и вот нашла... чтобы вновь потерять? Она металась по сцене, прошибая двери и стены, и очень спешила, потому что сейчас он остановит её и надо успеть сделать хоть самую малость, чтобы спасти сына, не дать ему умереть. Но её никто не останавливал, даже Анна перестала шипеть из-за кулисы. В какой-то момент Богатырёва бросила взгляд в темноту пустого зрительного зала, на режиссёра: чего это он – молчит, не обрывает?.. И увидела его цепкие, злые и ликующие глаза. Чему это он радуется там, когда здесь сплошной мрак и безысходное горе? Вокруг неё вертелись персонажи, пробираясь вдоль невидимых стен к незримым дверям, пытались ей возражать и делать что-то своё. Дудки! Они все – все! – говорили и думали то, что надо было ей посреди её погибающей любви, рухнувшей карьеры и рушащегося материнства.

Она отыграла свой эпизод, ушла за кулисы. Её трясло, она доплакивала уже натуральными, никому не нужными слезами, которые так сдерживала в эпизоде, потому что там надо было скрыть ото всех своё смятение и горе, а здесь можно и не скрывать.

Она не следила, что они там делают без неё, она пыталась свинтить себя по частям, чтобы к нужной реплике быть снова твёрдой как скала. И в ней подспудно жил страх, что он прервёт репетицию и вся её изготовка пойдёт насмарку. Но репетиция катилась, как по рельсам. Он только крикнул однажды из зала: «Акт второй. Гоним без перерыва».

В сцене объяснения с сыном, которого она достала с того света, но которому оказалась не нужна – сцене ключевой, внешне сдержанной, она и уходит-то под занавес во тьму, во мрак, уходит одна, ожесточённая, но не сломленная, идёт слегка спотыкаясь, а всё же твёрдой походкой, зная одна во всём мире, что там, где душа, там, где сердце, теперь горсть золы... Она в поисках хоть какой-то поддержки извне всматривалась в пустой и тёмный зрительный зал. Но режиссёр погасил настольную лампу и отключил рацию, чтобы не мешала, там виделся не силуэт даже, а сгусток тьмы, пульсирующий огоньком сигареты. И всё же ей угадывались чьи-то глаза, живые, напоённые болью, какой она жила, и откликающиеся на эту боль, и осуждающие её, и ей сострадающие. Хотя она знала, в зале никого быть не может, вход запрещён кому бы то ни было, даже актёрам. Но там, у последних рядов, кто-то был. Кто-то безмолвно отзывался её погибающей, но рвущейся к жизни душе. А может, никого – может, ей показалось? Она могла, конечно, ошибиться, но интуиция её не обманывала никогда.

Всё. Финал. Стенку укатали за кулисы. Зал наполнился светом, и Богатырёва осторожно глянула из-за кулисы – туда, в последние ряды. Никого. Странно. Неужели я обманулась?

– Всем спасибо. Все свободны. Вечером прогон. Заняты...

– Те же?

– Нет. Поменяем состав.

Она какое-то время сидела в гримёрке. Вдруг он захочет ей что-то сказать? Но режиссёра не было. Ей надо было всё равно побыть одной, приспособить свой организм уже не для спектакля, а для простых житейских целей. Ну не может она выйти на улицу, а тем более прийти домой такой расхристанной бабой.

В дверь не то постучали, не то поскреблись. Наконец-то! Но с каких это пор Лев Александрович стал таким деликатным?

– Войдите. Открыто.

И хорошо, что, не оборачиваясь, можно видеть в зеркало, кто это ломится к тебе в гримёрку.

– А-а, это вы, – она, кажется, сумела скрыть досаду. Вот уж кто ей сейчас никак не нужен! Ведь договаривались же в пятницу...

– Не ожидали?

– Ну что вы. Прессе я рада. Всегда.

«Та-ак, надо бы одарить его улыбкой. Ну, хотя бы такой... А не Лев ли Александрович подсылает его ко мне?»

– Вы появляетесь, как человек-невидимка. До испуга внезапно, вдруг.

«Ещё, ещё обласкай»:

– Садитесь. Здравствуйте.

«Какой ты, право, некоммуникабельный, а ещё газетчик».

– У вас обычно такой таинственный вид...

Поразительно незащищённое лицо, каждый импульс души, как на экране дисплея, он рот не раскрыл, а уже ясно, что ему надо.

– И никогда не знаешь, о чём вы можете спросить сейчас. Через минуту.

«Стоп, тебя заносит, дорогая».

Он покраснел:

– От вас ничего не скроешь.

– И не надо скрывать.

– Тогда скажите...

«Скажу, давай, мой милый, свой вопрос. Всё, что тебе надо, скажу».

Каждый раз, когда она видела этого парня, ей становилось боязно за него. Ну до чего застенчив и неловок! Он не мог работать журналистом, он слишком дорого за это должен был платить. Здоровьем, нервами. Чем ещё мы там платим на неудачный жизненный выбор мужа, жены, друзей, профессии? Ему газета противопоказана. Но ведь работает. Наверное, не первый год. Мальчику, пожалуй, лет за тридцать. Ну и ну!..

И ещё – её не оставляло ощущение, что они где-то виделись с ним, были знакомы в прошлой, но – удивительно! – напрочь забытой ею жизни. «Ну, это уже, дорогая, из области мистики, эти актёрские твои завихрения. А всё-таки? Всё-таки, всё-таки...»

– Тогда скажите: ваша героиня – человек обездоленный, ради карьеры она пожертвовала всем...

– Ради призвания.

– Не будем мелочны. Называйте это, как хотите. Вот мы с вами – люди нормативные. У нас семьи, дети.

«Это он – нормативный? Господи!»

– ...И когда сын её оттолкнул – помните? Он говорит ей: «Завела бы себе хоть кошку. Или собаку». – «Зачем?» – спрашивает она. А чтобы хоть кому-то отдавать своё тепло. Ведь ты же человек, говорит он ей. У тебя ведь тоже есть тепло. А его нельзя излучать просто так, в пространство. Его надо хоть кому-то адресовать.

«Куда это тебя понесло, мой милый? Спрашивать – спрашивай, но знай меру».

– Ну и что?

– Она, помните, отвечает ему...

– Помню.

– ...простые, необязательные слова. «Да, да, кошку. Конечно, кошку. Или собаку». Но, понимаете, – мороз по коже. Это сыграть невозможно. Тут или сам человек пережил такую катастрофу, или...

«А вот это уже не твоего ума дело, мой милый».

– ...или вы гениальная актриса.

– Я гениальная актриса. Вас это устраивает?

Он кротко вздохнул:

– Чего уж мелочиться.

– Значит, вопрос исчерпан.

– Не совсем. За двадцать лет работы вы создали целую галерею женских образов.

В основном, это – женщина-мать. Причём мать во всём её величии. И, конечно, личный опыт здесь бесценен.

«Змей. И робкий, и застенчивый, а кусает. Где же я видела его раньше?»

Ей стало вдруг неинтересно всё это. То есть она отвечала ему в тон на вопросы, но слова шли поверх души, не задевая её сути. Зачем он так? Она старалась, играла с ним в поддавки, а он взял и наступил ей на мозоль. Любимую.

Уже тогда она поняла, что парень он с подвохом, что ухо с ним надо держать накрахмаленным и не расслабляться, потому что он невзначай может вырулит бог знает куда. И потом, если б он один был такой ушлый, а то жизнь не скупилась, подбрасывала новые впечатления.

В тот же день Богатырёва была выбита из колеи вечерним прогоном. Играл второй состав, и вместо неё, Богатырёвой, на сцену, естественно, вылезла эта безмозглая гусыня Ханина. То есть там не надо было искать даже подобия того, что мы называем работой мысли. Но до чего же цепкая при этом, тварь. И, само собой, наглая. А что обиднее всего, Лев Александрович смотрит на её художества сквозь пальцы. И, более того, нет, чтобы одёрнуть распоясавшуюся бездарность, он вроде одобряет её действия.

«Для меня не нашлось и словечка, а эту интриганку он после репетиции вызвал к себе и что-то разяснял ей битый час. Где логика, хотела бы я знать, где справедливость?»

Богатырёва, конечно же, припёрла его к стенке. Так он ей что сказал?

– Играйте так, как вы играете.

– А как я играю? Я же ничего не помню, – затосковала она. – Что я делала на сцене, как делала? Понимаете? Не пом-ню!

Он похмыкал, осмысляя её творческий феномен, и великодушно разрешил:

– Ну и не надо.

– Чего не надо?

– Помнить. Пусть у нас с вами будет разделение труда: вы играйте, а запоминать буду я. Забудете – напомним.

И все дела. Но если б он запоминал один, а то ведь рядом с ним запоминает Ханина. Да так старательно: всё, всё запоминает – от и до. Как попугай копирует, ну добавила бы от себя интонацию, жест!

Богатырёву душила злость, когда она видела Ханину на сцене. Работа рабская, ничтожная, жалкая... Но тут же и осеклась: нет, жалкой эта работа быть не может, она оплачена моей болью, моим страданием, горьким опытом моей разбитой жизни. Обиднее всего был откровенный грабёж среди бела дня, и никто не схватил за руку воровку, не пригвоздил её, не уничтожил. Всё равно, что выносить ребёнка под сердцем, родить его в муках, а кто-то наглый, чужой грубо выхватит твоё дитя из твоих рук и присвоит себе материнство, которое часть твоей живой плоти...

С утра в пятницу Богатырёва мыла пол. Она отвела Катерину в детсад и, не очень-то планируя, что зачем, ринулась в уборку дома. Надо было и пропылесосить палас, и протереть пыль на выступах мебели, разобрать завал обуви в прихожей, убрать с вешалки впопыхах накопившуюся одежку, и вообще рассовать всё по отсекам гардероба. Она вдруг увидела как бы со стороны свою квартиру, застарелый и стойкий хаос, который, казалось, возник вместе с этим жилищем и воспринимался, пожалуй что, не как беспорядок, а как своеобразный интерьер её дома, как часть

её быта. И хотя тот ералаш никак не смущал её душу, она легко ориентировалась в нём и даже усматривала некое подобие порядка, но, рассудила она, сторонний свежий взгляд может содрогнуться, увидев твоё квартирное логово.

Богатырёва мыла пол. Вымыть надо было лишь в прихожей и на кухне, да протереть вокруг паласа в комнате, а то ведь шампиньоны вырастут, неровен час. Она отжимала тряпку, мутная вода шумно рушилась в ведро, и этот низвергающийся звук напоминал ей аплодисменты, рукоплескания, овацию. Но аплодировали Ханиной а не Богатырёвой, что было чудовищно само по себе. И не отжав её толком, она в остервенении швыряла тяжёлую тряпку на пол – и даже не швыряла, а хлестала тряпкой некое ненавистное пространство, в нём вырисовывалось ей вульгарное лицо негодяйки, которая – подумать только! – мнит себя актрисой, да я на её месте постыдилась бы не то что выступать в массовках – на сцену выходить!..

Она работала в яростном запале, работа спорилась и даже доставляла ей удовольствие. Она и не заметила, как расправилась с прихожей, не только вымыла пол, но и расшвыряла Монблан дурно пахнущей обуви и даже очистила вешалку. И уж когда навела такой шик и блеск, что самой страшно стало, спохватилась. Ведь он придёт домой не к какой-нибудь канцелярской мымре, у которой всё разложено по полочкам да с этикетками – в конце концов, он придёт в гости к актрисе, а профессия накладывает отпечаток на облик жилья, тем более профессия актрисы. В конце концов, чего это я, будто готовлюсь к инспекторской проверке...

И обалдев от лоска, который, может быть, впервые ей удалось навести в своём доме, она приступила к задаче куда более сложной, но творческой. Предстояло теперь навести художественный беспорядок.

На шкафу, под потолком, были подоткнуты рулончиками афиши. После каждой премьеры, пережив её как лихорадку, как летучую и неизбежную болезнь, она, бог весть зачем, старалась раздобыть свежую афишу, чтобы торжественно её прикрепить в передний угол и любоваться какое-то время. Но кнопок не оказывалось под руками, да и не втыкались они в бетонную стену. И не сообразив так вот с ходу, куда бы это пристроить обнову, Богатырёва в нетерпении жизни засовывала её под потолок – до завтра. А завтра жизнь продолжалась, закручивалась другая карусель с новым спектаклем, с новой нервогрёпкой, недопониманием или главного, или деталей, с извечной мукой приспособить свою психофизику к роли, и хоть в какой-то малости перещеголять тех, кто рядом, и проклятая ревность к чужому успеху, которую надо скрывать, и чёрная зависть других, если тебе удалась твоя роль. Рулончики афиш под потолком напоминали непомерно большие бумажные бигуди, будто шкаф свихнулся на старости лет и решил себе сделать причёску. Воронье гнездо на шкафу с бумажными папилотками афиш могло показаться вполне безобидным, а это было кладбище страстей, один лишь взгляд старую на афишу будоражил память Богатырёвой, вызывая в душе её циклоны противоречивых чувств.

Впрочем, в том вороньем гнезде обнаружился клад: там пылились в забвении бесценные вещи. Эскизы костюмов, она сама их делала к спектаклю «Возможны варианты», перелаясь с художником и режиссёром, они хотели одеть её в какое-то тряпье, но она сумела их доконать, и её героиня блистала в умопомрачительных туалетах. А это что за драная туфля из белого шёлка, расшитая стеклярусом, он от старости частично выкрошился, частично выцвел, поблёк? Её бросило в жар: туфелька Золушки! Да я же её теперь натянуть на свою ножищу не смогу...

А это откуда? Перчатки из кружев. С ума сойти – Роксана, «Сирано де Бержерак»... И всё это годилось в дело: туфля, перчатки, эскизы костюмов, кубок, из которого Гертруда выпила яд. Богатырёва обнаружила часом позже, что её квартира похожа на лавку старьевщика и всполошилась, и принялась запихивать весь этот

старый реквизит назад, на шкаф, в гнездо воронье. Но на полпути спохватилась – до сих пор не поставлено тесто на кекс! – ринулась на кухню. И комната её теперь была похожа то ли на гримёрку, то на будуар, в котором давно не прибирали.

Он пришёл ровно в три. Дверь она открывала, слегка испачкавшись мукой:

– Ой, проходите, здравствуйте.

И пока он разувался вопреки её протестам («Мужчина должен быть обутым!»), она рассыпалась в пардонах, мол, извините за рабочий беспорядок, всё некогда всё недосуг. Он всё же снял штиблеты, и она, беспомощно разведя руками, испачканными мукой, и не решаясь к чему-либо притрагиваться, сказала:

– Господи, наденьте тогда хотя бы это.

И он въехал ступнями в некое подобие шлёпанцев, без задников, но на каблуках, невысоких, а всё-таки, и какое-то время чувствовал себя испанским грандом. Она, всё так же боясь запачкать его мукой, теснила гостя в сторону комнаты. Он, робко озираясь, вошёл в её апартаменты, и на лице его выразилось крайнее смятение:

– Вот это да!..

– Извините. Беспорядок, – улыбалась она и, уже невзирая на руки в муке, пыталась засунуть золушкину туфельку совсем в неподходящее место – в задвижку трюмо.

И с минуту изучал все эти аксессуары её актёрской профессии, и спросил очень кстати:

– И вы тут живёте?

– Да, а что? С дочерью.

Он похмыкал, провёл языком по пересохшим губам, слегка обкусал их своими редкими, но неожиданно хищными зубами. Судя по тому, как часто он это делал, у него неизбывный внутренний жар, что-то не даёт покоя его воспалённому сердцу и уму. Опасливо, однако и с интересом обошёл комнату, обнюхал-осмотрел углы. Повадки кота. Ну да, кот ведёт себя так же, когда его впускают в незнакомую комнату.

Та-ак, обнюхал, осмотрел. Сейчас облюбует себе место. Он что – жить тут собирается? Ну, конечно, – кресло. Мягко, тепло и удобно. Сибарит. Хотя, нет, лень здесь не ночевала. Что-то гложет его изнутри. Сексуально озабочен? Н-не похоже...

Он решительно положил руки на подлокотники кресла:

– Итак, отбросим в сторону, хотя бы на время, наш личный опыт. В конце концов, художник должен вовлекать в орбиту творчества опыт других. Тем более актер. Жизнь многообразна.

Он говорил так, будто беседа их прервалась минуту назад. И он уже не видел ни комнаты, ни того, что Богатырёва в переднике и руки у неё в муке. Собственно, выпечку кекса на этом можно и завершить, ему сейчас подсунь любую магазинную стряпню, и он, ничтоже сумняшеся, будет нахваливать кулинарные таланты хозяйки дома. Сказать по правде, на это она и рассчитывала – важно было не столько испечь кекс, сколько разыграть всю эту пантомиму с выпечкой. Единственно, чего она не ожидала, что пантомима эта будет столь короткой.

– Смотрел я на вас, как вы ломали все эти несуществующие стены на сцене, и не соглашался с вами...

Та-ак, это уже интересно.

– Смотрели?

– А как же!

– Когда?

– Вчера. Во время репетиции.

– Но в зал никого не пускают. Вы что – с режиссёром договаривались? Да он ни за что не покажет черновой вариант спектакля, тем более газетчику. Если бы вас заметили...

– Да? Меня кто-нибудь видел? А? Вы-то меня не заметили...

Как бы не так, мой милый. И когда он успел испариться? То есть он знал, что нельзя, и вопреки запрету... А что – отчаянный экземпляр, с таким можно было бы познакомиться ближе. Хотя именно с таким точнее будет держать дистанцию, он, как чёрт из коробочки, в любой момент неизвестно откуда и с чем может выскочить.

– Да, так я ломала, значит, стены, а вы были со мной не согласны?

– Категорически! Зачем эта жертвенность? Человек она, конечно, сильный и далеко не безгрешный. Но зачем вы заставляете её всю вину принять на себя?

– Видите ли...

«Интересно, чего он добивается?»

– Так честнее. А кто же ещё виноват?

– Во-от, кто виноват... Давайте подумаем. Там есть одна фигура, но – в тени. Муж...

– Кто?

Богатырёва напряглась. Опять подвох?

– Её бывший муж. Уж такой мягкий человек, такой деликатный. И вину-то он готов взять на себя. Как он там говорит? Ты, конечно, меня не любила, Ирина, говорит он ей. Но я тоже хорош: пошёл на поводу страстей...

– Каких? – Богатырёва невольно ему подыграла, подав реплику.

– Да в общем-то банальных... как выяснилось позже... Он прищёлкнул в воздухе пальцами, припоминая текст. Как там дальше? А!

– Разве можно было ставить рядом с тобой ту девчонку, из-за которой я бросил тебя?

– Не будем об этом. Не сейчас. Не здесь.

– Ладно. Не будем. А забавно, смотри – объявление рядом с табличкой «Приёмный покой»: «Больной должен иметь при себе анализы и тапочки». А? – он невесело усмехнулся, почти войдя в роль. – Знаешь, а я тебя понимаю. Я потом сам попал в такую же ситуацию.

– Ты о чём?

– Да о том же, о том. Парень, который увёл у меня молодую жену, причинил мне, сам того не ведая, такую боль, о какой не имел представления. Потому что сам её не то чтобы не испытывал никогда, а просто был не способен испытать. Да и радость, которую он получил, – если бы она была равновелика моей боли.

– Вы о чём? – спросила Богатырёва его уже не по роли. – Там нет этих слов.

– Разве? Странно. Впрочем, я ведь так – наугад, по смыслу.

– Да? Но текст вы знаете неплохо.

Он уклончиво пожал плечами:

– Пришлось вчитываться в пьесу. Чтобы понять вашу судьбу.

Та-ак, куда это он подкапывается?

– Положим, не мою судьбу, а судьбу моей героини.

– Да, да, конечно. И, вы знаете, меня заинтересовала природа его эгоизма. Так сказать, корни, истоки. Были же у этого человека близкие люди, обстоятельства, которые взрастили в нём и душевную глухоту, и все прочие доблести. Смотрите, как он последователен в своём характере: за дверью идёт сложнейшая операция, его сыну спасают жизнь, и неизвестно, спасут ли. Рядом мать его сына. Он не видел её сколько? Лет двадцать, пожалуй. Её состояние понятно, да? И о чём же он ей говорит? Она корчится от боли – сейчас, здесь корчится, а он говорит ей о той неловкости, которую испытал двадцать лет назад, когда бросил её, растоптал. Но ему этого мало. Он говорит о нестерпимой боли, которую испытал сам, когда его бросили.

– Да не говорит он об этом! Нет там этих слов.

– Разве? Жаль. Должны быть.

– Вам дать адрес автора?

Нет-нет, он в долгу не останется:

– Мне дать чашку чая. И кусок пирога. Или что у вас там... создается? Ради чего поднят весь этот... – он обвёл глазами фартучек, её руки и даже нечто не щеке.

– Да, ради чего поднят весь этот мучной бум?

Она повела плечиком, и ответ уже приплясывал у неё на кончике языка, она не знала, какой ответ конкретно, но ответ ехидный, злой, жалящий. И неожиданно для себя – а для него тем более! – она улыбнулась открыто и просто:

– Я сейчас.

– Тут-то и затрезвонил телефон. Трубку она взяла с опаской, как рептилию.

«Алло!».

– Любовь Иванна? Вам звонит таинственный незнакомец.

Давай, давай, только тебя здесь не хватало. Не будь рядом корреспондента, она бы познакомила этого незнакомца с самим собой, она б ему намылила по телефону морду. А книги надо возвращать чужие! И если ты берёшь у кого-то взаймы, то это не значит, что отдавать долги обязаны твои бывшие жёны. Ну и так далее, они давно не виделись, ей было, что ему сообщить. Но рядом находился журналист, и она ответила в трубку:

– Я слушаю, Валера.

– Ну вот, тебя и не поинтригуешь.

– Извини, я занята. Если не трудно, позвони чуть позже.

– Трудно.

Ещё бы! Разве он упустит случай покуражиться. И надо было просто-напросто дать отбой и, как ни в чём не бывало, продолжить светскую беседу, но сработало её чутьё, сработала, будь она неладна, интуиция:

– Что случилось?

– То... случилось! – он сделал паузу, изыскивая способ, как её половчее достать, но ничего не подвернулось под руку, да и ситуация была неподходящая для мелкого междусобойчика. И он нехотя выложил голую суть: – Отец, Люба, умер.

И было бы естественным, если бы она невольно опустила трубку, ставшую вдруг тяжёлой и холодной сверх меры, и беспомощно глянула бы на корреспондента, как бы извиняясь за чужое, в общем-то, горе, которое не очень кстати коснулось и её своим скорбным крылом. Но мизансцена выстроилась проще и точнее. Она лишь спросила:

– Когда?

– Ночью. А гроба нет. Машины нет. И с местом на кладбище ничего не понятно. А уже четыре часа. И потом сегодня пятница. Ждите, говорят, до понедельника.

Голос в трубке звучал раздражённо и жалобно. И хотя Валера, конечно, под хмельком, но даже ёрничать у него не хватало пороку – настолько он был растерян.

– Где... отец?

– А-а, лежит на диване. Ему что – сложил себе руки на груди. Свечку держит. Ильинична принесла. Он же верующий. Ты что, не знала? Он одной рукой крепился, другой чёрта лысого гладил.

– Не надо...

– Так ты придёшь?

– После спектакля.

– Бутылку по дороге прихвати.

Корреспондент деликатно разглядывал вышивку на диванной подушечке.

– Знакомый? – задал он ни к чему не обязывающий, безответный вопрос.

Ей следовало при этом рассеянно улыбнуться, уклончиво промолчать и, сделав строгое лицо, вернуться к теме разговора. А она ответила зачем-то:

– Муж звонил. Бывший. У него умер отец. Мой свёкор. Теперь тоже, – она пожалала плечами, – бывший.

– Пожилой?

– Под восемьдесят. Фронтовик, – надо было дополнить характеристику Богатырёва-старшего, но кроме этого «фронтовик» она ничего путного сказать о нём не смогла. – Да, фронтовик. Человек он был сложный. Много чего намешано.

Корреспондент поставил в блокноте некую магическую закорючку – дай бог, чтобы он разгадал её после. Куда тут денешься – пусть пишет.

А он закрыл блокнотик:

– Давайте я приду завтра.

– Нет-нет! – всполошилась она. – Вы уж сегодня... всё-всё, что надо. Я – пожалуйста... я расскажу.

Каждый его визит – нечеловеческое напряжение, как бы не оступиться, не обмолвиться. И в то же время не солгать, а удержаться на грани той нужной им обоим полуправды, которой ждут от него все и которую соорудить не так-то просто. Бывали мгновения, ей становилось невольно, хотелось прекратить эту игру в поддавки и рассказать ему, как Господу Богу, всё как есть о себе. Что никакая она не мать, что детей у неё никогда в помине не было. Что могла бы она родить ещё тогда. Крановщицей, когда встретила Валерку и полюбила его, но он отговорил, мол, слишком рано. Потом лет через семь опять забрезжила надежда, и уж так ей хотелось ребёнка, перебирать губами пальчики родного и единственного человечка, купать его, кормить, баюкать и слушать нелепый лепет, и смазывать йодом ссадинки, не спать ночами, если вдруг температура... Но Валерка сказал:

– Ты себе ломаешь биографию.

У него была железная аргументация:

– Тебе сейчас дают Роксану. Ты идёшь на заслуженную. Родить – значит, год потерять, это как минимум. Ты посмотри: сколько у тебя конкуренток?

И он, змей, пожимал плечами:

– Дело хозяйское – рожай. Но ведь... как раз московские гастроли.

Уже тогда она знала ему цену. Знала, рано или поздно разойдётся с ним. Знала, что он эгоист высшей марки, что он её предаст и продаст за копейку, за рюмку и просто так – ради красного словца. Но любила его распроклятой любовью, и всё надеялась на чудо, хотя жизнь уже тогда предоставила ей очень веские доказательства, что чудес не бывает, что, притулив к стене горбатого, его не выпрямишь.

Но чем же помочь ему сейчас? Всё же отец у него умер.

– Скажите... а похоронное бюро работает завтра?

– В субботу? – журналист не очень-то удивился её вопросу. – Не знаю. Надо позвонить.

Но тут её осенило:

– Минутку. А может быть...

Какой там номер телефона в поделочном цехе? Та-ак.

– Алло! Амнистий Анисимович?.. Ой, простите!..

Нет, но sdурела – и всё тут!

– Амнистий, Амнистий, – спокойно ответила трубка. – Вы не стесняйтесь, я привык.

– Анисим Анисимович, милый, здравствуйте. Это Богатырёва, Люба.

– Ишь ты! Здравсьте, здравсьте.

– Ещё раз – простите. Я невзначай. Не сердитесь.

– На сердитых воду возят, Любушка-голубушка. А меня жизнь научила давно улыбаться сквозь слёзы.

Надо бы запомнить эту скороговорку и ёрнический тон, и голос, надтреснутый, с щербинкой. Авось, пригодится.

– У меня к вам, Анисим Анисимович, деликатная просьба.

– Ишь ты! Дак это смотря об чём.

– Скажите, у нас в театре есть... гробы?

Амнистий помолчал, соображая.

– Много вам?

– Один.

– Всего-то.

Амнистий опять помолчал.

– Подобрать можно. Есть гроб хрустальный. Из оргстекла. От сказок Пушкина остался. Есть гроб, обитый бархатом. С кистями. Офелию хоронили. Вам для какого спектакля?

– Не для спектакля мне.

Амнистий снова приутих.

– В театре кто умер?

– Нет, один знакомый. Мой родственник. Богатырёв, мой свёкор.

Трубка вздохнула, помолчала. Потом отозвалась задумчиво:

– Значит, помер Николай.

– Вы его знали?

– Прожитое как пропитое – не вернёшь, – как-то странно ответила трубка.

– То есть?

– Это я так. Любимое присловье покойного. Ну, хрустальный гроб ему, однако, не подойдёт. Я бы сделал, конечно, по мерке. Но тут, извиняюсь, премьера. Проще купить готовый.

М-да, поговорили.

Но тут в замочной скважине заворочался ключ.

– Вот и мы, – тетя Паша, как и договаривались, привела Катерину из детского сада.

Корреспондент с умилением смотрел на малышку, она кинулась маме на шею и, обнимая, успела вытащить из маминой причёски пару заколок. Освобождённые от пут волосы лёгкой лавинкой низринулись вниз, прикрыв пол-лица и на мгновение отлив-отчеканив неповторимый профиль Богатырёвой. Пока она занимались причёской, Катерина знакомилась с корреспондентом. То есть знакомился он, деморализованный её деловитым наивом. Она же в полминуты успела разобрать его шариковую авторучку в четыре стержня – причём, к его изумлению, так разобрать, что сборке она уже не подлежала. Пока он пытался завладеть останками авторучки, Катерина устраивала выставку содержимого его карманов.

– Эт-то же... кара господня!

Богатырёва подхватила дочь на руки, дала шлепок, посадила на диван, сунула ей коробку с нитками. Корреспондент представил себе порядок, который воцарится через минуту в коробке, и стал почему-то откланиваться.

– А чай? – пыталась удержать его Богатырёва. – Я же специально для вас кекс...

– Прекрасно!.. Прекрасно, – он торопливо размещал по карманам то, что было изъято из них. – Верю на слово. Кекс достойно завершит ваш творческий портрет.

Он пятился к двери, улыбался, ощупывая уже не только карманы, но и всего себя и с опасливым умилением глядя на Богатырёву-младшую.

Он ушёл. Богатырёва устало опустилась на стул у трюмо, вытащила закладки из волос, волосы рухнули ей на лицо, на плечи. И она предоставила с таким трудом и тщанием убранный дом на милость Катерины, которая тотчас принялась наводить в нём неопиcуемый порядок. Хотелось плакать, но она не могла себе позволить такой роскоши, вечером предстояло играть Филумену Мортурано, там надо работать, и нужны будут силы. И потом – старик Богатырёв, надо успеть и туда.

Она смотрела в зеркало, наблюдая, как дочь восстанавливает в доме первозданный хаос, и пыталась представить себе, какой была мать её дочери, как выглядел отец, и сколько было жизнелюбия в этих людях, если они сумели передать такой неистощимый заряд энергии этой милой ведьмочке, с которой она настолько сроднилась за два года, что порой ей кажется, будто Катерина и в самом деле её родная дочь. А те, погибшие в авиакатастрофе, но давшие жизнь этому пламечку, всего лишь выдумка, миф, порождение нездоровой фантазии её, актрисы Богатырёвой, бессонных и мучительных ночей.

V

– Итак, она звалась?..

– Богатырёва, – подсказал редактор Игорю, и уже тогда, в первый их разговор, Игоря поразило совпадение фамилий. – О театре мы пишем редко, так что не то-ропитесь. Вообще, читателя надо завоевывать, как территорию...

Вот нравились редактору такие умозрительные построения. – Так что материал о Богатырёвой должен быть «вкусным».

«Обложили меня Богатырёвы со всех сторон, как медведя в берлоге», – невесело подумал Игорь, но тут же отбросил мелькнувшую было мысль, как нелепость. И задал вопрос по существу:

– Сроки?

– Ну... неделю, думаю, хватит. – Редактор был на редкость щедр. – Тут главное надо помнить, что человек выстраивает фасад своей жизни и за этим фасадом живёт. Так вот в данном случае нам с вами надо проникнуть за этот фасад...

– Объём?

– Ну... – редактор уклончиво повёл плечами. Во даёт, а! Он же скупердяй не-сусветный. – Тут надо учесть ещё вот что. Большинство людей старается жизнь прожить по касательной, с наименьшими затратами души и тела. А между тем наша гражданственность заключается в конфликтности нашего бытия. Тем более, если человек талантлив, как Богатырёва. А талант...

– Я думаю, строк семьсот, – сказал Игорь.

Редактор сделал вид, что не расслышал:

– ...Талант должен быть выше предложенных ему обстоятельств.

«Это уже любопытно», – подумал Игорь и дожал ситуацию:

– А лучше – девятьсот. Или тысячу.

Редактор побледнел, но продолжал, как трамвай, гнуть свою линию:

– И покажите её не только в работе, но и в быту. Семья, знаете ли, не место для аплодисментов. Тут надо жить.

Значит, с горки была команда. Может, с самого-самого верха. Иначе редактор удавился бы, когда б услышал про тысячу строк. Да ещё о таком никчемном деле, как театр. Ну, свинокомплекс бы новый построили, аквапарк. Или перекличка двух соревнующихся предприятий – другое дело. А то – театр... Игорь

понимал, что задание это – лакомый кусочек, и не совсем по его отделу, и, в общем-то, редактор должен был сам ухватиться за очерк об актрисе, хотя он, конечно же, изжувал бы его, запомадил, и вышла бы приторная липучка, от которой мухи дохнут, потому что при всей своей сатанинской интуиции и прочих весьма редких талантах писать он не умел – ну, не дал бог змею крыльев! – и не писать для него было тоже смерти подобно, хотя он, как мог, удерживал себя от этой дурной привычки. Но и сверх того, Игорю порой казалось, что в душе редактора в силу его начальничьей природы сидел кобель – правда что на цепи, короткой и крепкой, но был, был кобель, чтобы гавкать на подчинённых и рычать временами: мол, моя кость, не отдам. А тут, гляди-ка, сам, добровольно отдал. С чего бы это?

Ну, был у них инцидент, точнее – инцидентец. Так, мелочь, в рабочем порядке. Послал его редактор на месяц жатву освещать, а у Игоря в самом разгаре роман с Валентиной, жена очень кстати увлеклась дачей, дневала там и ночевала, в ней после сорока прорезалась свирепая любовь к помидорным завязям и огуречным грядкам. И оба они сообща зевнули Пашку, сына, которого как-то вдруг забыли пестовать – хотя бы так, как пестовали огуречные плети. За тот месяц, пока Игорь был в командировке, у Пашки прорезался хамский басок, он смотрел на родителей наглými, злыми глазами, мать робела перед ним – Игорь видел, что этот четырнадцатилетний оболтус взял над ней полную власть.

И надо ж было случиться такому совпадению, что в тот день, когда был напечатан Указ о награждении редактора медалью «За трудовую доблесть», Пашку избили, считай, средь бела дня и сняли с него эту чёртову пакистанскую куртку, Игорь терпеть её не мог, был категорически против покупки, но мать смотрела на Пашку, как кролик на удава, и он таки её уломал.

И вот, значит, в разгар всех этих событий занесло Павла на работу к отцу, и надо было ему в коридоре налететь на редактора. Тот разве что в сторону не шарахнулся при виде чугунноликого отрока:

– Что это?

– Это мне. Медаль, – проскрежетал Игорь. – За отцовскую доблесть.

У шефа глаза пошли в кучу, к переносице, он посоветовался сам с собой и решил отделаться пока что дежурной сентенцией:

– Да, да. Мне говорили. Возмутительно, знаете ли. Но... эту полосу жизни надо пережить как болезнь. Вы этого дела так не оставляйте. Нужна моя помощь – готов. Чем смогу. Я тоже, знаете ли... Да что там говорить!..

Но про медаль он, видать, запомнил, прокрутил ситуацию в своём редакторском микрокалькуляторе, сделал оргвыводы и теперь, очевидно, искал повода, чтобы компенсировать нанесённый Игорю – нет, не редактором, жизнью – моральный и физический урон.

Скоропостижное приглашение к редактору взбодрило Игоря и на какое-то время отвлекло от того состояния тревоги и горя, в котором он находился все эти дни. В нашей взвинченной жизни главное что? От стрессов не уйдёшь, да и нужны они неуёмному сердцу, чтобы не одрябло оно, чтобы тонус его поддерживать, чтобы оно всегда готово было к перегрузкам. Только б стрессы эти не наслаивались один на другой, а то невзначай инфаркт схлопочешь.

Но как от жизни уберечься? У неё столько возможностей садануть тебя под дых – как раз в тот момент, когда тебя долбанули по темечку. Во-первых, история с Павлом. А во-вторых, Игорь как-то вдруг, безо всякой видимой причины разругался с Валентиной. И всё это чуть ли не в один день. И теперь он зло думал: ну, что ещё припасено у судьбы – она ведь если бьёт, так серией ударов, чтоб наповал.

чтоб неповадно жить было дальше. Как сказала бы мать, деньги липнут к деньгам, радость – к радости, горе – к горю.

Работа на жатве была суматошной, дни проходили в запале, внахлест и отбрасывали Игоря совсем уж в раннюю молодость, когда он чувствовал себя Колумбом и каждый день открывал по Америке. С годами пришло понимание, что Америка давно открыта и открыта не им, что никакой он не первопроходец, что надо просто вкалывать на обжитых и уже надоевших пространствах. А всё-таки стоило лишь пахнуть горьковатому ветру дорог, с полыницей да с пылью, да с разбитыми траками, на которых мотает тебя в кабине машины как грешную душу, – и начинает дрожать в закоулочках сердца не слышная в нашей размеренной жизни, но широко ж тревожная, пронзительно звучащая струна.

Там, в круговерти работы, примащиваясь с блокнотом у комбайна или на полевом стане, куда в такие дни стараются согнать всех домовых из близлежащих селений, чтобы согреть казённые жилища духом неказённого уюта и житейского тепла, и прямо кожей чуешь, как сами домовые томятся от всей этой обязаловки и показухи и скулят, бедолаги, так им хочется назад, к родимым запечным щелям, – там, в запустении гостиничных номеров, отстукивая по ночам на раздолбанной портативной пишмашинке репортаж срочно в номер или стирая прямо в раковине и, конечно, в холодной воде рубаху-перемываху, Игорь начал писать стихи. Это было как несчастье, как тайный порок, избавиться от которого неумоготу. Он знал, тем стихам – грош цена, но была в них неизъяснимая сладость, потому что стихи были про любовь, а он чуял, что она, треклятая, одолевает его как болезнь, как погода, от которой в данной местности никуда не денешься. И, бывало, в конторе совхоза ему сообщают фамилии, гектары, проценты, а он вместо них записывает в блокнот всякую белиберду:

Мне бы голос твой услышать,
Да в глаза бы заглянуть,
Под твоей желанной крышей
На часок прилечь, заснуть...

Утрами он звонил стенографисткам в редакцию, диктовал свою сотню строк. Потом звонил домой, и если жена не на работе и не на даче, она сообщала ему семейные, скудные новости: и что Пашка вконец охамел, с ним что-то неладное, что у неё опускаются руки, и как бы не было какой беды. Он жалел её по телефону, давал немного поплакать, сам сокрушался, что-то советовал, иногда ругал – в общем, воспитывал сына, как мог.

И уж потом набирал номер рабочего телефона Валентины, она отвечала тихим и каким-то размагниченным голосом:

– Да.
– Ещё, – просил он её.
– Да.
– Ещё, ещё!

Она тихо смеялась, старая телефонная трубка из чёрной пластмассы становилась тёплой и нежной. И вопреки тому, что пластмасса покоричневела, выцвели местами и потрескалась, она казалась ему в те мгновения удивительно изящной, хрупкой, он осторожно дышал в неё. Он молот всякую чепуху и осязаемо видел губы её в светлом ободке припухлости... Её карие, они смотрят чуть искоса, глаза... Её аккуратные смиренные плечи когда он прикасался к ним, они становились откровенно незащитными и у него появлялось бешеное желание защитить их от всего белого света, прикрыть их своими руками, плечами, всем телом. И тут от

нежности его охватывал озноб, он почти наяву ощущал прикосновение её ладоней, неожиданно крупных и сильных. Она была художником-модельером, и её ловкие, умелые руки не знали усталости в любом деле. Это было как наваждение, и он готов был бросить всё и мчаться сломя голову к ней, чтобы приникнуть к её губам и её теплу своими губами и теплом своей растревоженной крови.

Каждый раз он читал ей новые стихи, и банальные строки, в которые вселялся его голос, в которых жила его влюблённая душа, обретали звучность, напевность и страсть.

– Это мне? Про меня? Про нас? – спрашивала она растерянно.

– Тебе. Про тебя. Про нас. Ладно, как там сын твой? – спрашивал он на прощание.

– Кто? А. Сын. Нормально. Скоро в армию.

Собственно, ему не было никакого дела до её сына. Ну, знал он, что есть у неё великовозрастный обалдуй, там тоже свои проблемы, но Игорь ни разу не видел его, Валентина так умела устраивать встречи, что сын всегда отсутствовал.

Последний их разговор его всполошил.

– В моей жизни могут быть перемены, – сказала она.

Трубка вдруг стала невероятно тяжёлой.

– Нет, – возразил он. – Нет.

– Пойми, мой милый. Ты свалился на меня, как снег на голову. Но ведь до тебя у меня была жизнь. И с твоим появлением она не закончилась.

– Я завтра приеду. Нет, сегодня. Ночью. К тебе.

– Не надо, – испугалась она.

– Я люблю тебя, слышишь?

Она долго молчала.

– Алло! Алло!.. Ты меня слышишь?

– У тебя семья, – произнесла она наконец.

– При чём тут это! Ты что, считаешь, что штамп в паспорте – гарантия любви?

– Миленький мой, – сказала она, и голос её звучал с такой нежностью, что у него пресеклось дыхание. – Мне надо замуж. Сегодня. Завтра будет поздно, я постарею. Я не хочу быть на старости лет одна.

– Он кто?

– Какое это имеет значение?

– Так. Сейчас три. Самолёт в девять вечера. Я успею.

– Не надо.

– Я люблю тебя, слышишь?

Она опять помолчала.

– Ну, хорошо, – сказала своим тихим неуверенным голосом и вздохнула чуть слышно.

Всё, что он делал дальше, было на грани возможного, потому что улететь в тот вечер он не смог бы никак. Надо было продиктовать в досыл очередную сотню строк, взять интервью, а рейс проходящий, билетов, конечно же, нет. Но у него было такое ощущение, что если он не увидит её сегодня, то потеряет навсегда.

И когда в первом часу ночи он подходил к её дому, испытывал нетерпение радости и панический страх: вдруг она уже вышла замуж, и он опоздал?..

На занавесках окон трепетал полусвет, какой бывает, когда в доме включён телевизор. Игорь остановился у окна и обессилено упёрся лбом в переплетенья рамы. Форточка была открыта, и он услышал из комнаты голоса, мужской и женский – её, Валентины голос. Слов разобрать не мог, но ясно было, что мужчина в

чём-то убеждает её, и голос его дрожит от возмущения и сумасшедшей ласки, а она что-то отвечает тихим и неуверенным голосом, и тут ясно было без слов, что разговаривают два любящих человека.

Он с полминуты слушал этот разговор, и земля уходила из-под ног, и там, где сердце, намерзала глыба льда. «Та-ак, всё понятно». Он зачем-то прошёл к двери, поставил на лавочку саквояж. И уже ничего не соображая, обрушил на двери свои онемевшие кулаки.

– Кто там? – испуганно спросила Валя.

– С-свои, – ответил он зачем-то.

Она открыла двери, и узнала его, и со стоном запрокинула лицо, и порывисто обняла за шею, и что-то лепетала несуразно-нежное, соответствующее минуте. А он стоял, потрясённый, ничего не понимая. И уж совсем не отвечая за свои поступки, принялся целовать её с ненавистью и сердечной болью.

Потом, когда схлынула первая волна потрясения, горечи и ненавистной ласки, он спросил:

– Кто у тебя... там?

– Где?

– Там. В комнате.

– Никого.

Комната была озарена разноцветными сполохами телеэкрана. И – никого.

– Но здесь кто-то был?

Она испуганно смотрела на Игоря.

– Н-ет, не было.

– Да, а Вадим... то есть Виктор. Ну, сын твой – где он.

Она с укором посмотрела на него:

– Не Вадим и не Виктор. У бабушки он.

И тут снова раздался всё тот же проклятуший баритон. Кулаки сжались сами собой. Игорь зло обернулся на голос.

Во весь телеэкран улыбался Бельмондо. К его широкому плечу прижималась Анни Жирардо.

– Вот сволочь, а?..

Игорь виновато смотрел на Валентину, она уже готовилась ко сну, была в ночной сорочке. И он снова целовал её, такую желанную и родную, которую только что проклял и с которой минуту назад распрощался навеки.

Наутро он, как ни в чём не бывало, явился домой. Сыну привёз брюки бананы, жене... Жена и так была рада ему.

Сына он не узнал. Тот не то чтобы подрос, а – посуровел. Сквозь мягкую оболочку отрочества проступили жёсткие мужские черты. Он, как собака блохами, был обвешан двойками. На вопросы отвечал неохотно, выглядел угрюмым, ошетинившимся. Тут нельзя торопиться, решил Игорь. Тут надо выждать, разузнать, чем он живёт, чем дышит. В школе кое-что выведать, во дворе. Да, лучше не форсировать события. И он отпустил сына с Богом – в уверенности, что тот пойдёт на уроки в школу.

Теперь – жена.

– Я отпросилась, – сказала она. – Пойду на работу чуть позже.

Они сидела за кухонным столиком. Чай остыл, про него и забыли. Игорь держал её уже немолодые руки в своих – заматерелых, вступивших в пору мужской силы и зрелости, и жена неспешно излагала про все свои горести, тревоги и болезни.

– Значит, с Павликом вот что... Сидит во дворе у нас пэтэушник, они его зовут Илья... Муромец, что ли? Причём ведь не из нашего двора. И пляшут они все под его дудку. Вчера сунулась к Пашке в карман – сигареты...

Он понимал, что как бы ни был подробен и длинен рассказ, как бы ни был ему неинтересен какими-то гранями, он должен терпеливо, с участием выслушать.

– А дачу Ивановых обокрали. Вынесли всё подчистую.

Он не очень-то вникал в её слова, лишь поддакивал временами и сочувственно кивал головой. Тут важен был не смысл того, что она говорит, а интонации, настрой на её биополе. Он слушал её голос, как слушают камертон, и в унисон откликался на него своими редкими «да, да. Подумать только». А сам смотрел в её усталое лицо, оно посветлело сейчас, как на исповеди. Он изучал морщинки у глаз, у губ. А вот и на щеке, на левой, там, где раньше расцветала в улыбке пикантная ямочка, появилась насечка, будто жизнь коснулась походя резцом, наметив место, где ей, жизни, предстоит тем резцом ещё поработать – уже основательно.

– Так вот, значит, почки. Уролог сказал...

История их женитьбы могла бы стать основой первоклассной мелодрамы. Там было всё: роковая любовь, разбитые судьбы, мужское рыцарство и материнское проклятие, женское вероломство и прыжки из окна от ревнивого мужа, и тайком умыкание невесты, и счастливый финал, от которого сердце исходит слезами.

Жена была старше Игоря на семь лет.

Собственно всю эту карусель закрутила, сама того не подозревая, мать, Ильинична. Она толкнула Игоря на грех, причём из самых добрых материнских побуждений, желая сыну добра. И не подозревая, что годом позже будет рвать на себе седые волосы, биться головой о стену и проклинать свою злую судьбину, проклинать день и час, когда познакомила Игоря с Галиной, своими же руками неразумными толкнула их друг к другу.

Её край как заботило, что сын ушёл весь в учение, в науку. Вот и диплом получил, а рядом с ним – ну ни одной девахи. И задумала она пикник устроить в честь того, что сын стал дипломированным специалистом. А на пикник тот вроде как невзначай пригласила свою сослуживицу, Галю. Муж у неё алкоголик, она хоть и жила с ним в одной квартире, но – в разводе, так что была как бы ничейная. Ильинична давно приглядывалась к ней и что-то своё вычисляла.

И вот раскладывала она в мангале огонь, а Галина рядом – помогала.

– Ты это... расшевели его. Игоря то есть. А то он замороженный какой-то.

Галина издала посмотрела на Игоря, потом глянула на Ильиничну:

– А можно?

– Ой, дым в глаза лезет, – сказала Ильинична.

– Ну, смотри. Не пришлось бы снова замораживать. Я ведь присушиваю их, а? Не знала?

– Ты это... не очень, – одёрнула её Ильинична, но отбой не дала, а только шибче замахала фанеркой, раздувая костерок. Если б знала она, какой кострище там запыляется, то поостереглась бы, поостереглась!..

Она зорко следила за тем, как Галина подсаживается к Игорю то с одной стороны, то с другой, напрапалую строит ему глазки, тянет танцевать:

– Подарим миру старое танго.

Потом, рассыпая бесовский смех, убегает в колючий шиповник. Тут главное что? – кумекала Ильинична, глядя, как Игорь ломит сквозь шиповник. Тут главное вовремя включить систему торможения.

Ага, включила. Они как ухнули в тот шиповник, так их след простыл. Хоть «ау» кричи, хоть «караул». Ильинична, как старая курица, при мангале осталась, при гостях, при пикнике. Ну и пометала же она тогда икрёнку! Ближе к ночи сунулась было домой к Галине, да только дверной пробой поцеловала. Она корила себя за

беспросветную дурь и доверчивость, но и утешала. В конце концов, не девка он, а парень, в подоле не принесёт. Да и Галина не сдвинулась ещё по фазе, чтобы все-рьёз с ним связываться. И потом, она ж сообразить должна, какой отпор получит от неё, Ильиничны, если затеет с парнем игры всерьёз и надолго.

Галина – та вообще не утруждала себя укорами. Хотя одна ночь, да моя – вот и все дела! Она как раз оказалась незанятой, ухажёры дали ей передышку, а тосковать да грустить она не привыкла. Её чутко смущало, что он такой молоденький, зато цепляться не будет. Потешится да и отлипнет.

А Игорь просто обалдел от новизны и силы ощущений. Он куражился как молодой петушок:

– Вот где твой муж?

– Тебе не всё равно? В командировке.

– Ты с ним в разводе, да?

– А что? Замуж, что ли, возьмёшь?

– Нет, но почему он не уматывает с квартиры? Хочешь, я ему морду намылю? – и воинственно поправлял на переносице очки.

Галина смотрела на него своими бедовыми глазами:

– Намыль. Только вы с ним в разных весовых категориях. Он дверь вот эту высадил одним ударом. Не, ты побей его, побей. Только сам об него не ударься.

Он замолкал на какое-то время, потому что поверх вопросов являлось любопытство иного рода, и он с безудержной жадностью его утолял.

– Какой же ты ласковый мальчик, – говорила она ему.

А он нет, чтобы сказать ей что-нибудь такое же в ответ, он дальше задаёт вопросы:

– А почему у тебя нет детей?

– Тебе это важно? Потому что от алкоголика может родиться дебилик.

И он великодушно разрешал ей:

– А ты роди от меня.

– Дурак.

– Нет, в самом деле. Ты посмотри на меня. Молодой. Красивый. Умный. Это раз. А главное – мать моя будет рада. А, представляешь?

– Ох, и сволочи вы, мужчины!..

Она вдруг начинала плакать. Эти слёзы выворачивали ему душу, он впервые столкнулся с неодолимым влиянием женской слезы на железное мужское сердце. Он растерянно сидел рядом, от её слёз становилось зябко, он кутался в простыню.

– Ну чё ты, чё ты? – бубнил он. Неумело пытался обнять её, она передёргивала плечами, сбрасывая его руки.

– Я виноват, да? – он пытался нащупать линию поведения. Интуиция в общем-то верно вела его по лабиринту женской души. Он мало-помалу одолевал её сопротивление, она прикинула к нему. Он баюкал её как ребёнка, губами собирал с её щёк слёзы и удивлялся, что они лишь слегка солоноваты и чуть-чуть, ну самую малость, горчат. Мужская слеза, наверное, и солоней, и горче. В те светлые тихие минуты рождалось безрассудное желание положить свою жизнь к ногам этой женщины и все свои силы употребить на то, чтобы она была счастливой.

Но кровь опять горячила душу и тело, и снова подступал кураж:

– Ты знаешь, Галя, ты достойна счастья. Ты не бойсь, я не буду стоять у тебя на дороге. Вот встретишь мужика приличного, я сам отдам ему твою руку и сердце.

Он и не знал тогда, что играет с огнём, что она по тем речам вычисляет всю его оставшуюся жизнь, и, чтобы переубедить её после, ему придётся сломать к чёртовой матери всю её эвээм и задвинуть ей в душу свою электронику.

– Эх, Галя, Галя! Ни кола у тебя, ни двора. Выросла в детдоме, квартира эта наполовину твоя, разделить – не разделишь, и муж твой занудливый и настырный, он тебе её ни в жизнь не уступит, себе оттяпает. Подружки твои все шалавы, ты им не ровня, они путного тебе ничего не дадут, не подскажут. Ты нужна им как ширма – обтяпывать свои постельные дела налево. Они ведь при семьях и замужем...

– Умолкни, а? Ты чего, как Ильинична? Тебе-то что надо?

– Чего мне надо... Ты скажи: хочешь счастья?

– Хочешь.

– А какое оно?

– Отцепись. Простое. Потому и невозможное.

– Ну, какое, какое?

– А такое. Чтобы муж был не алкаш и не бабник. Чтобы крыша была над головой. И чтобы дети. Ну хоть один ребёночек.

– И всё?

– Что – мало? Да я бы за это всю свою жизнь служила ему как раба.

– А если он будет Квазимодой?

– Чего?

– Ну, страшный будет. Ты же любить его не сможешь.

– Так с лица воду не пить, дурачок.

– Слушай! Выходи за меня. Нет, правда, я красивый. Ты любить меня будешь.

– Заткнись, а, красавчик!

– А-а, боишься влюбиться.

И менял тональность, говорил ей на полном серьёзе:

– Ты, правда, Галка, будь осторожнее. Смотри, не влюбись в меня.

И смеялся, счастливый и толстокожий, как слон.

Он понимал, что рано или поздно они расстанутся и будут просто добрыми друзьями. И был благодарен ей за науку любви, которую она преподавала ему с такой щедростью.

Всё это длилось три месяца.

Однажды она его не пустила. Открыла дверь и потеснила с порога:

– Я не одна. И не надо истерик. Ты меня понял? Ты умненький мальчик.

У него дрогнули губы в улыбке. Он впервые попал в такой переплёт.

– Ну... ты даёшь! – сказал он ей и сделал так это небрежно ручкой. – Привет дублёру.

Было легко и даже не обидно. Укололо лишь то, что сам он не сделал этого раньше – не ушёл первым. В конце концов, таких как Галка – пруд пруди. Жизнь только начиналась и начиналась хорошо. Он мог даже подтрунивать над собой: «У него всё было впереди – кроме собственной задницы».

Несколько дней он почти и не помнил её. А однажды проснулся ночью, оттого что плакал во сне. Он кусал подушку и ревновал Галку, он хотел её ненавидеть, но не умел, и умирал от нежности к ней и оплакивал всю её горькую жизнь.

Он бомбил её телефонными звонками, умолял о встрече, чего-то там угрожал. Дежурил возле дома до полуночи, пугал внезапными визитами. Она пожаловалась матери.

– Знаешь что? – сказал он Ильиничне. – Я, наверно, уже вполне, а? Или нет? Не лезь, ладно? А то ведь я...

– Что? – полезла та на рожон.

И получила:

– Да женюсь я на Галке, вот что!

– Прокляну! – истово выдохнула она.

– Не ломай комедию, мама.

Однажды, когда Галка категорически не пустила его, потому что была не одна, он вошёл в раж и сдуру начал бить ей окна. Он делал это неумело до жути. По минутно теряя очки, выискивал под ногами камни и швырял их в окно, при этом мазал безбожно, однако разочка два попал. Окно распахнулось, из него выскочил полуголый очередной Галкин защитник и принялся лихо обрабатывать Игоря кулаками. А тот вырывался, орал: «Вон отсюда! Ты унижаешь её...» Галка ведьмочкой металась между ними в полураспахнутом халате, пытаясь разнять, Игорь топтал ботинками свои же очки и всё пытался целовать ей руки: «Ты достойна лучшей доли. Ты должна быть счастливой. Я сделаю тебя... Я...» И он крутил в руках разбитые очки, не знал, что делать с ними, и близоруко шурился, когда его запихивали в фургон милицейского воронка.

Ему дали пятнадцать суток, но взяли на поруки, хотя успели наголо остричь. Он вскорости явился к ней и укорял её, выставив перед ней свою напрочь лысую голову:

– Посмотри, что ты со мной сделала.

Галка смотрела на него растерянно и зло, он мешал ей жить дальше.

– Вызову мужа из командировки, – пригрозила она.

– Да не муж он тебе.

– А это посмотрим.

– Я жить без тебя не могу, – сказал он ей.

– Ой, как красиво.

– Нет, я серьёзно. И ты без меня жить не можешь.

– У-у, как страшно. Ты глаза-то разуй. Мне уже тридцать, а тебе?

– Глупенькая, – сказал он ей. – Я старше тебя на целую любовь.

– Ну что ты заладил: любовь да любовь. А где ты собираешься жить со мной? Ну – где?

– Ты согласна? Нет, ты скажи только: ты согласна?

Глаза у неё были тоскливыми:

– Ох, и зануда! Такому проще отдалиться, чем объяснять, почему не можешь. Ну, давай, давай – поиграем с тобой ещё и в эту игру.

Она горько передёрнула плечами:

– Значит, так. Ты находишь квартиру. Угу? Затем вечером, после работы, выкрадываешь меня.

– На тройке? С бубенцами?

– Не-ет, выкрадываешь вполне современно. Подгоняешь фургон и... грузишь в него всю эту мебель. С ним у нас уговор: квартира его – мебель моя.

– Теперь ты слушай меня. Завтра я не могу – дежурю в типографии. Машину я подгоню послезавтра. В восемнадцать ноль-ноль. Вещички ты уже сейчас укладывать можешь.

– Дурень со ступой, – сказала она. – Ты квартиру сначала найди. Покрутись у объявлений, походи по столбам – на них, знаешь, квиточки приклеены.

– На первый раз дурня со ступой прощаю, – он говорил без тени юмора. – Но лишь на первый раз. Прошу относиться ко мне уважительно.

– Ну, спектакль! – она явно теряла самообладание.

– А квартира... квартиру я нашёл. Вчера. Вот ключи. Сорок рэ в месяц. Осилим?

– Ты сумасшедший, – сказала она.

– Нет, я просто люблю тебя, Галка. Очень. Ну, ты мне веришь?

– Не знаю.

Теперь она выглядела растерянной. Ему хотелось взять в ладони её лицо, и прижаться к нему губами, и долго-долго не отпускать его из своих рук. Но он не сделал этого. Успеется. Он лишь сказал:

– Помнишь, ты говорила о счастье. Что счастье – это муж, крыша над головой и ребёнок. Помнишь? Ты ведь говорила так?

– Нет, – сказала она. – Нет, нет. Это невозможно.

Она что-то ему возражала, и он понимал, что она права, что она ему действительно не ровня и не пара. Но он понимал и то, что без неё он просто-напросто умрёт. Через день он позвонил ей – вечером, как и грозился, около шести:

– Ты готова?

– В каком смысле?

– В переносном. Ну, в переездном, если угодно. Я уже в кабине фургона.

– Зачем... фургона? Какого?

– На колёсах который. Через пятнадцать минут... Нет, через десять будем у твоего подъезда.

– Не дури, – сказала она. – Ты что – серьёзно?

– Нет, я шучу.

И когда они с шофёром вошли в её квартиру, она смотрела на них, как на грабителей, беспардонных и наглых, они на её же глазах выносят её имущество, причём у неё же и спрашивают:

– Что ещё выносить?

Она спохватилась, когда они слишком уж рьяно попёрли на выход холодильник, и у него откуда-то снизу вывалился никак не закреплённый, не приспособленный для перетаскивания электромотор, полопались трубки с фреоном, пахло чёрт знает чем, а ребята по-быстрому, на честное слово, прикрутили проволокой мотор и потащили холодильник дальше. Комната стала угрожающе пустой, Галину колотило крупной дрожью.

– Раскладушку оставим? – спрашивал Игорь. – И стул. И стол. И эту вот дорожку. Чтoб можно было сказать: мол, скатертью дорожка, да?

Он оглядел голые стены:

– Всё вроде. Как ты велела. Смотри, можем назад всё занести. Нам главное хозяйку погрузить. Нам без неё никак. Раз-два, взяли!..

И он действительно сграбастал её на руки, а шофёру, который по инерции кинулся ему помогать, дал отмашку:

– Э, э!.. Это я сам...

Он поставил её у порога, накинул на неё пальто, и обнял, и, унимая дрожь её и растерянность и тревогу, поцеловал мучительно долгим поцелуем, как перед дальней и неведомой дорогой.

А она стояла перед ним, сжавшись в комочек, и в страхе старалась разглядеть и лицо его, и руки, и всего этого, в сущности, мало знакомого ей человека, она давным-давно вроде бы знала его, но получается, что и не знала вовсе.

– Озябла?

– Ага, – и сделала первое открытие в их семейной жизни. – А ты горячий!..

– Ну! – и он по обыкновению сморозил какую-то чушь. – Не мужчина, а печь. С двумя обогревателями.

– Зачем с двумя?

– Чтобы тебя согреть быстрее.

Он смотрел на неё счастливыми и жадными глазами:

– Поехали?

И она сказала ему:

– Делай, как знаешь.

Он в запале тогда плохо соображал, но всё же почувствовал подвох и опасность:

– Нет, но сама ты хочешь этого?

Она умоляюще посмотрела на него:

– Я замёрзла, Игорёк.

И он отогревал её. Лет десять, по крайней мере. Пока сам не озяб.

Ильинична, которой эта история вышла боком, раскручивала её потом и так, и эдак.

– Эт-то надо же! Присох к ней. Кто бы мог подумать?

Но были не только риторические вопросы:

– Слышь, а чего она у тебя снулая такая? Ну прямо подменили бабу. Раньше – куда её не тронь, везде у ней огонь, а сейчас – ну никакого зажигания!

И безо всякой логики бросала сыну обвинения:

– Ты это дело прекрати! Ведь ты... ты что? Замордовал её. Чем, чем? Любовью. Ты, Игорь, пойми нашу женскую душу: мы счастливы, когда нас любят. И мы готовы на ответные шаги. Но вы оставьте нам простор. Как это – для чего? Для маневра, для инициативы. А ты... да ты интервент! Ты любишь за двоих: и за себя, и за неё.

А это, знаешь ли, волюнтаризм.

И, следуя невысказанным изгибам своих суждений, она сокрушалась:

– Какой мужик попал бабе! Это можно выиграть один раз в жизни и то – по трамвайному билету. Ну что ж ты спишь рядом с ним на ходу? А ну как встретится ему неспящая красавица...

Игорь смеялся:

– Чего ты каркаешь, мама? Всё у нас в норме.

А мать смотрела на него с неизъяснимой грустью и, словно бы пронзая завесу грядущего, пыталась от чего-то предостеречь и жалела, жалела.

– Ах, Игорёк, много ли бабе надо? А чтоб у неё всегда мужик был на привязи. Вот ты хотел сделать её счастливой. У-у, ты как с цепи сорвался: в год выкрутил квартиру, и сын у вас родился, и... И всё у вас есть – и дача, и мебель... Всё. А дальше?

– Что – дальше?

– Ты всё ей дал. А она тебе?

– Ну-у, мама... Ты у меня Спиноза, да и только.

Мать, в общем-то, необъективна, и он те разговоры не брал в расчет. Пока не налетел на Валентину. Всю свою жизнь он знал, что такое – любить. Но он не знал, что значит – быть любимым.

Каждая их встреча дарила ему сокрушительную радость, он шёл домой умиротворённый, в согласии со всей Вселенной, в согласии с самим собой. И что бы там ни случилось дома, он в такую минуту готов был всё принять и понять и одолеть.

– О, господи... Я тебя обыскалась, – встретила его жена, и в голосе её не было упрёка, а были тревога и боль, и он ещё не понял, по какому поводу.

«Что-то стряслось», – подумал он скорее даже беззаботно и не почувствовал никакой опасности.

– Ну, ну, – сказал он жене на всякий случай. – Не надо так убиваться.

И даже когда он увидел на спинке стула рубаху сына, нещадно порванную и в пыли, он опять же не испугался, а удивился: «Ни-че-го себе!..» И лишь когда на него глянула чугунноликая маска виесто сыновьего лица, когда перед ним заплясали, и невозможно было глаз отвести от них, синячищи и кровоподтёки

Павла – на руках, на груди, на спине и по всему телу, Игорь сгрёб его за плечи и принялся неистово трясти, и голова мальчишки моталась из стороны в сторону, отзываясь отцовскому страху, и было ясно, что Павел готов на всё, лишь бы только не лезли к нему в душу и оставили его наедине с болячками и смутой, которая была куда страшнее синяков.

– А ты молодец, – сказал Игорь жене, когда волна страха схлынула, и он сообразил, что надо успокаивать не только себя. – Молодец, что не приняла близко к сердцу.

– Я валидол приняла, – сказала жена. – Он ближе к сердцу.

– Так что же случилось? – спросил он жену и Пашку, и самого себя.

И потом в экстренной хирургии, где им дали справку о побоях средней степени тяжести, и у нейрохирурга, и в милиции Игорь вслушивался в монотонный рассказ потерпевшего, и его поражало равнодушие, с каким Пашка излагал события, заученность интонаций, будто он вызубрил текст и как попугай повторяет его:

– Шёл на дискотеку. Подбежал сзади парень. Глаза голубые, нос горбинкой. Ударил по голове. Я упал. Подбежали ещё двое... Когда очнулся, куртки нет.

«А не вешает ли он лапшу на уши? Нам всем», – подумал Игорь. Но, спрашивается, зачем Пашке это?

В тот же день Игорь отправился к Илье Муромцу, пэтэушнику, тот днями сидел в их дворе на скамейке и плёл паутину вокруг пацанов. Та-ак, первое: глаза – не голубые, нос – не горбинкой. Второе...

– Будем знакомы, Илья...

– Не Илья – Валентин, – насмешливо ответил ему пэтэушник.

– А почему тогда – Муромец?

– Богатырёв потому что.

– Что ж, Богатырёв Валентин... как тебя там по батюшке?

– Валентинович.

– Это что – в честь матери?

– Почему? Отца тоже зовут Валентин, – и он как-то очень уж торжественно назвал отца, будто речь шла о знаменитом футболисте или об очень уж популярном певце, вроде Кобзона. – Валентин Николаевич Богатырёв.

– Та-ак. Отец – Валентин, мать – Валентина, и ты туда же. Вы не путаетесь в именах?

– Ещё чего! Отец – Валюха, мать – Валечка, я – Валюсик.

Он смотрел на Игоря свысока и даже с презрением, как на просителя, пришедшего в неприёмные часы.

– Та-ак, Валентин Валентинович. И чем же вы тут занимаетесь... с пацанами... весь день?

– Таблицу умножения учим. И вышиваем. Гладью. Ага. И крестом.

Игорь смотрел в наглую рожу Валюсика, в его рыжие волчьи глаза – где-то он видел их? Где? – и с горечью думал: вот чем он взял его сына? И не только его. Ведь ни тени интеллекта, даже намёка нет на подобие мыслительной работы.

– Где куртка, Валюсик? Кто Пашку избил?

– А вы Пашку спросите. Может, он скажет? Или вы у него из доверия вышли?

И чтоб не сорваться, не заорать, не затопать ногами, Игорь встал со скамейки и ушёл, затылком чувствуя всё тот же наглый насмешливый взгляд.

В тот день о свидании не договаривались, но он, конечно же, ввалился к Валентине. Она была напугана его приходом, какое-то время поглядывала на часы, но потом успокоилась. И был, конечно, мягкий свет торшера, музыка под сурдинку, и, тихо звеня чашками, Валентина разливала чай. Игорь обессилено сидел в кресле

и думал о том, что, слава богу, есть куда нырнуть в такую вот тяжёлую минуту, чтобы хоть как-то забыться, уйти от проблем.

– У тебя неприятности? – она обняла его сзади и прижалась щекой к его лысеющей макушке, а у него даже сил не было ответить ей на ласку. – Да что с тобой, Игорь?

– Ты знаешь, вчера был у тебя, а в это время...

Он рассказывал, пытаясь скрыть раздражение, но оно прорывалось, и он видел как лицо её блекнет, взгляд скучнеет.

– ...Эта куртка, будь она неладна, всё из-за неё.

– Куртка?

– Ну да. Такая, знаешь, с фирменной биркой «Classic». Они её все носят, через одного.

– Погоди-ка.

Она зашла в закуток сына, долго перебирала там вещи и вынесла оттуда куртку:

– Такая?

– О! Точь-в-точь.

– Странно.

– Ты о чём?

– Да так...

– Ты меня прости. Не по себе мне.

– Бывает.

Она машинально чайной ложкой чертила узоры на скатерти. Нависло отчуждение, и вдруг исчезли тепло и трепет, что были всегда рядом с нею.

Ей было, было, что сказать ему. Что у него семья, у него своя личная жизнь. А у неё – какая личная жизнь? Нет у неё личной жизни, нет. Я нужна ему, чтобы он в любой момент, когда... приспичит (да, да, грубое слово, но извини, это правда) – так вот, когда приспичит, мог прийти ко мне, расслабиться, отдохнуть, разрядиться. И с новыми силами – куда? Домой, к семье. А я – к кому мне податься, когда не могу, когда жить не хочется, а жить надо. Где получить глоток кислорода?

У-у, он конечно, встал бы в позу: «Но, Валюша, я всегда готов». – «Да не готов ты никогда. Ты готов, когда тебе надо. И... не будем. Оставь меня. Ну, недели на три оставь. Дай проводить сына в армию. Тут своих проблем невпроворот». – «Но я же готов помочь!...» – «Я сама. И ради бога, не надо этих визитов неожиданных. И не звони мне. И не припирай меня к стенке. Я от тебя устала. И... уходи. Сын вот-вот должен прийти. Не хочу, чтобы он тебя увидел».

Ей было, что сказать ему, было. Но она ничего не сказала. Сидела у стола и молча ложкой чертила вензеля на скатерти.

– Обиделась.

– Я? Нет. Устала. Сына проводить надо в армию.

Ему стало неловко: всё же это величайшая бестактность – вовлекать её в свои проблемы. Другая устроила бы сцену, она же просто ушла в себя. Мир осиротел и обесцветился.

– Пойду, пожалуй.

– Да, да. Конечно. Сын должен вот-вот прийти. Не хочу, чтобы он тебя видел.

Он ушёл, унося в груди тяжелое, как булыжник, сердце. Оно и без того было тяжёлым, но стало вдвое тяжелей.

А Пашка прокололся в тот же день.

В школу он, конечно, не пошёл, а пошёл он на стадион «Динамо» – искать тренера по боксу, у которого занимался три года назад. Но тренера не нашёл, а встретил преподавателя музыки, лет пять назад они друг другу помотали нервы.

Это сейчас Павел жалеет, что плохо учился играть на гитаре, а тогда она ему на дух была не нужна. Впрочем, преподаватель музыки его не узнал. Да и узнал бы, что толку? С помощью сольфеджио от Богатырёва не отмахнёшься. Тут нужна другая нотная грамота.

Потом он пошёл на центральный стадион – искать тренера по пятиборью. Но Павел уже месяца два не ходил на тренировки, расписание изменилось, и он никого не нашёл.

Он позвонил из телефона-автомата домой – вдруг повезёт, и никого нет дома?

– Алло! – раздался в трубке нетерпеливый голос отца.

И тут невезуха. Павел молча повесил трубку. Куда идти? К кому идти? Кто поможет, защитит, ободрит, даст совет? В жизни Павла наступала полная безнадёга.

А прокололся он по-глупому. По телефону с Виталькой Купсиком сверял условия задачи и видел: мать собралась, уходит. Слышал, как она захлопнула дверь, и можно было говорить теперь открытым текстом:

– Да в подвале дрались!.. Сначала с Богатырём. Он сбил меня с ног и попинал для острастки. Это я с Длинным потом нахватав синяков. Богатырь говорит: сними куртку, а то порвёшь...

И тут в комнате возникла мать и уставилась на него жуткими, как с иконы, глазами. Она, конечно, тут же всё размазала отцу. Павлуха молчал, как партизан на допросе, но это уже ничего не могло изменить. Да и не стал отец ни о чём его спрашивать. Отец как услышал, так и сел посреди комнаты на табурет, его зачем-то принесли сюда с кухни, видать, доставали какую-то завалящую, редкую книгу с верхней полки. И отец обхватил руками голову и раскачивал головой из стороны в сторону, как будто у него болел зуб.

А комната забита книгами... Надо было видеть отца, когда он приносил новую книгу, как он листал её, оглаживал обложку, на лице появлялся румянец, глаза блестели, голос становился звучным и густым. Потом он долго подыскивал место для новой книги и перекладывал её по многу раз, пока она сама не застревала намертво где-нибудь под потолком, так что вытащить её было непросто, но к тому времени отец, как правило, успевал ту книгу прочитать. В этой комнате он становился уверенней и выше ростом. «Эти не подведут, не предадут, не переметнутся к другому», – говорил он, оглядывая стеллажи, и губы его иронически дёргались.

И не было, наверное, страшнее момента в жизни отца, когда три года назад они вернулись из отпуска и обнаружили полупустые полки.

В дорогу они взяли «Зверобой» Купера, отец заставил Павла прочитать эту книгу, Павел сопротивлялся изо всех сил, потом его за уши было не оттянуть. А отец рассказал ему, что есть ещё «Следопыт» и «Последний из могикиан», они стоят в спальне на полочке, там специально подобраны и Майн-Рид, и Жюль Верн, и Дюма, и все они давным-давно ждут, когда их прочтёт Павел.

«Зверобой» кончился за пять дней до их приезда домой, отец пытался подсунуть Павлу что-то ещё, но Павлу нужен был Фенимор Купер и только Купер, он с нетерпением ждал, когда они приедут домой, и он войдёт в спальню, к той самой полочке с возжеланными книгами. А до первого сентября ещё две недели, и можно будет читать, сколько влезет.

Мать гладила его по голове, он даже не сопротивлялся, и мечтательно говорила:

– Павлуха идёт в шестой класс. Подумать только!.. Сказать по правде, Игорь, близится осено, и я впервые без страха думаю об этом. Знаешь, почему?

– Знаю, – отвечал отец. За день до отпуска он случайно – ну, крупно повезло! – купил матери австрийские сапоги, и это было событием в доме. И австрийские

сапоги навсегда связались у Павла с Фенимором Купером, с десятью пачками индийского чая, чёрным свитером крупной вязки, мать возилась с ним почти год, подарила отцу в день рождения, он очень дорожил этим свитером, надевал его редко, берёг и почти не носил. Свитер у них тоже украли.

Едва они переступили порог дома, как Павел сразу почувствовал, что стряслась беда, но его уже ничто не могло остановить, он побежал в спальню к той самой книжной полке. Он смотрел на неё и ничего не мог понять. Где «Следопыт», где «Последний из могикан»? Полка была пуста.

— А где?.. — спросил он. — Где? Где?

Он кричал от боли и от того, что у него отняли то, о чём он мечтал много дней, и знал, что оно ждёт его, и с нетерпением стремился к этому, и верил, что оно будет ему принадлежать.

Он кинулся в зал. Посреди комнаты стояла баба Лена, ей поручили следить за домом, а она не уберегла, лицо у неё было серое, голова мелко-мелко тряслась, и она всё пыталась разглядеть вот здесь, возле горла, воротничок у своей кофты, а он никак не разглаживался.

Павел бросился ей в колени, а она гладила его трясущейся рукой и говорила знобким голосом:

— Да ты не плачь, Павлуша, не плачь, — а у самой слёзы так и лились, так и лились. — Вот увидишь, мы новые купим.

И впрямь, купили потом новые, отец на чёрном рынке раздобыл и Купера, и Майн-Рида, и Жюль Верна, и даже «Анжелику и король», и Павел, чуть погодя, прочитал всё же и «Следопыта», и «Последнего из могикан», и даже «Пионеры» всё того же Купера, но был в этом чтении неистребимый привкус горечи, привкус утраты. Он остался у Павла на всю жизнь.

И отец как-то вдруг утратил жадность к собственной библиотеке, на книги смотрел теперь насторожённо, брал их в руки с опаской и почти не покупал.

А в ту минуту он ринулся к своему рабочему столу, открыл столешницу:

— Хм, Библия на месте. Цветаеву не тронули. «Мастер и Маргарита»... О! «Устав союза журналистов» — тоже не взяли. Вот дураки, а!

Он как бы с неохотой подошёл к окну, вроде как невзначай заглянул за портьеру, но тут же резко и отдёргнул её с торжествующим воплем: «Ага-а!..»

Там, в потайном закутке, пряталась его пишмашинка «Эрика» — единственное, по уверениям матери, чем он дорожил в своей жизни, над чем дрожал и что панически боялся потерять.

— Моя дойная коровушка, — говорил он и оглаживал её серенький корпус. — С работы прогонят, без копейки останусь, а с ней не пропаду. Прокормит, родимая.

И отлучаясь надолго из дому, он суеверно прятал её за портьеру:

— Тут ни за что не найдут. В голову не придёт там искать.

— Кому? — смеялась мать.

— А! — отмахивался он. — Вот ка-ак залезут воры... Брать у нас нечего, кроме этой машинки.

Оказалось, что есть чего — кроме машинки.

Потом отец стоял в зале рядом с бабой Леной и с Павлом, смотрел на пустые книжные полки, лицо его стало чёрным и страшным.

Баб Лена вдруг начала тянуть его за руку:

— Да ну их! Пойдём отсюда лучше. Я тебе вот что скажу, — и затараторила несусветную белиберду. — Я в «Рекламе» читала: мол, библиотеку всемирной литературы меняю на дачу. Или на «Жигули». У меня на сберкнижке две тысячи лежит. Мы вот что сделаем...

Она тянула отца за руку, а он будто закаменел, баба Лена уже начала паниковать потихоньку:

– Паш, а ты не стой тут, не стой. Ты позови сюда мать.

И спекшиеся губы отца передёрнула улыбка:

– Угу. Её тут не хватает.

Мать сидела на кухне и оплакивала безвременно погибшие австрийские сапоги.

И всякий раз, как отец начинал возбужать, когда Павел доставал его – чем? А чем угодно. Двойкой или тем, что накуролесил, или ответил, не рассчитав силы своего неокрепшего, но, как уверяет мать, «вполне уже хамского голоса», – всякий раз отец пытался долбануть Павла своими книгами.

– Сколько сил, – говорил он, – сколько времени я затратил, чтобы собрать для тебя три – слышишь ты? – три библиотеки. На три твоих разных возраста. И что? Ну? Тебе ведь они на дух не нужны!

Павел слушал отца угрюмо и виновато и тяжело вздыхал, сознавая, что – да, в самом деле – они ему на дух не нужны. И он рад был бы помочь отцу, утешить его, но не знал, чем и как. А сделать вид, что нужны, мол, или ещё как соврать, не умел – не научился пока что.

И сейчас отец сидел на табурете посреди комнаты, посреди своих книг, обхватив голову руками, как при нестерпимой зубной боли.

– Боже мой! Вот все они, все на этих полках – ничто! По сравнению с тем вот мыслителем, который сидит во дворе. Бритоголовый. В армейской панаме. Который быдло. У него полторы извилины на все случаи жизни. Эллочка-людоедка рядом с ним – Цицерон. Шекспир. Конфуций. Лев Толстой.

И оставить отца уже было невозможно – он сцепился с Богатырёвым не на жизнь, а на смерть:

– Он в армию уходит, да? Я верну его, голубчика, оттуда. И посажу на скамью подсудимых.

Он раздобыл его домашний адрес и для полной ясности направился к Валюсику домой. Чтобы с родителями побеседовать. Душа в душу.

И уже подходя к его дому, он оступился, и сбавил шаг, и у него мурашками стянуло кожу на затылке. Потому что этот дом он не смог бы спутать ни с каким другим на белом свете. И этот голос за дверью тоже на веки вечные в его душе. Он оторопело стоял перед дверью, не в силах её открыть. А там, в комнате, в голос плакала женщина.

– Господи! – рыдала она. – Зачем я его родила? Не было у меня детей, и это не ребёнок, а позорище. Уже сейчас... сейчас могу предвидеть... Вероятность процентов на восемьдесят – могу предвидеть, что из него выйдет. Бабник, многожёнец, обвешанный алиментами. К замечаниям он как относится? У-у, любое – в штыки. Не-ет, днём с огнём не найдёшь начальника, с которым он бы сработался. Будет уваливать от работы, скандалить, летать с места на место...

Игоря особенно поразила эта цифра – восемьдесят процентов. Почему именно восемьдесят? С этим вопросом он открыл дверь.

Валентина тут же смахнула слёзы – будто и не плакала вовсе.

– Ты зачем пришел? – её голос дрожал от перенапряжения. – Я же просила...

– По делу.

Он прошёл в глубь комнаты и сел у кухонного столика на табурет.

– А ну-ка выйди, – сказала она сыну.

– Пусть останется. Он мне нужен.

– То есть?... – у неё захолонуло сердце.

Он что это надумал, а? Ты посмотри, как он серьёзен. Нет, но он сейчас... что? Сделает ей предложение. Ну да, он будет просить у сына её руки и сердца. Удивительно к месту и вовремя. У него просто талант появляться некстати. Нет, но кто дал ему право так беспардонно врываться в её личную жизнь и...

– Я же просила тебя – без предупреждения не...

– Что будем делать? – он будто и не слышал её слов.

Это её разъярило вконец:

– То есть как это – что будем делать?

– Уймись. Я не тебе. Ему.

– Такие вещи мы должны решать сами. При чём здесь он?

– При всём.

– В конце концов, я женщина свободная, в разводе. А ты...

– Что ты мелешь... свободная женщина! Да пойми ты: я подал заявление...

– Ах, ты заявление подал. И сам заявился – доложить об этом своём героическом поступке. Вот когда тебя разведут, мой милый, вот тогда ты...

– Я на него, на этого подонка, подал заявление. В милицию. Ясно?

– При чём тут он? – она растерянно глянула на сына, лицо её побледнело, и она, кажется, начала понимать всю нелепость своих слов.

Окончание следует.



В сентябре 2018 года отмечают:

70-летие

Жадыра ДАРИБАЕВА, поэт

Захардин КЫСТАУБАЕВ, прозаик

Батырбек МЫРЗАБЕКОВ, поэт

60-летие

Касымхан БЕГМАНОВ, поэт

Мурат БЕКЕЙ, поэт

Марфуга БЕКТЕМИРОВА, поэт

Сагатбек МЕДЕУБЕК, поэт, литературовед

Гульнар ШАМШИЕВА, поэт

Редакция журнала «Простор» сердечно поздравляет юбиляров!

